

ГРАНИ

GRANI

75

1970

Postverlagsort: Frankfurt/Main, April 1970

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку)

В Германии и во всех других странах, кроме США и Канады:

При подписке непосредственно из издательства — 26 НМ.

При подписке через представителей и книжные магазины — 30 НМ.

Цена в розничной продаже — 7.50 НМ (или эквивалент 7.50 НМ)

В США и Канаде:

При подписке непосредственно из издательства — 7 ам. дол.

При подписке через представителей и книжные магазины — 10 ам. дол.

Цена в розничной продаже — 2.50 ам. дол.

Подписную плату следует посылать:

почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу:

POSSEV-VERLAG

D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 215 640, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

Из Германии удобнее переводить деньги на

Konto 334 61, Postscheckamt Frankfurt/Main

ВОЗРОЖДЕНИЕ

НЕЗАВИСИМЫЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Во Франции: 12 номеров — 80 фр.; 6 номеров — 45 фр.

Заграницей: 12 номеров — 21 ам. дол.; 8 ф. ст. 8 ш.; 80 НМ.

6 номеров — 12 ам. дол.; 4 ф. ст. 16 ш.; 45 НМ

Цена в розничной продаже: во Франции — 8 фр.; заграницей —
2.50 ам. дол.; 1 ф. ст.; 9 НМ.

Подписную плату временно направлять по адресу: **c/o S. S. Obolensky,**
для «ВОЗРОЖДЕНИЯ», **Chemin de la Côte-du-Moulin. 78-L'Etang-la-**
Ville. France.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXV

№ 75

1970 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ВИКТОР ВЕЛЬСКИЙ — Откровения Виктора Вельского	3
Апология Виктора Вельского	5
Патология Виктора Вельского	42
Заметки Виктора Вельского	66
ПЕТР ВЕГИН — Над крышами. Поэма	115
МУЗА ПАВЛОВА — Ящики. Пьеса в пяти частях для балагана	125

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ТАМАРА СЕМЕНОВА-БЕНИНИ — Константин Паустовский.	
Главы из монографии	147

БИБЛИОГРАФИЯ

Александр Больто. Духовные судьбы России. — Валерий Перелешин.	
Просторная простота. — О. Можайская. Следопыт родных полей. — Арк. Слизской. Книга о Второй мировой войне.	
— О. Емельянова. Зов прародины	193
Список книг, поступивших в редакцию	206
Обращение издательства «Посев»	208

© 1970 Copyright by Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

ОТКРОВЕНИЯ ВИКТОРА ВЕЛЬСКОГО

ВСТУПЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ГРАНИ»

«Откровения Виктора Вельского» — произведение, занимающее центральное место в московском машинописном литературном сборнике «Феникс-66». Редактор его, Юрий Галансков, отбывающий в настоящее время семилетний срок в лагерях строгого режима, в своем помещенном ниже комментарии определяет «Откровения...» как «самый значительный (и, пожалуй, единственный) памятник отечественной литературы второй четверти XX века».

Несмотря на то, что «Откровения...» своим содержанием наталкивают читателя на философский и богословский подход, нам кажется, что наиболее верным было бы рассматривать это произведение в качестве человеческого документа нашей апокалиптической эпохи, тем паче, что и сам автор не раз подчеркивает свой дилетантизм в философских и богословских науках.

«Откровения...» — произведение чисто исповеднического характера. Это — исповедь «сына недоброго века», «героя нашего времени». И не случайно главной завязкой его первой — автобиографической — части служит Иудин грех, второй по важности грех коммунистической России, идущий вслед первому — ее отказу от Бога.

Из предательства Вельского — доноса в МГБ на доверившихся ему друзей — вытекает его видение Бога Живого как Бога Смерти, как Бога Ничто. Но параллельно этому из осознания этого греха, из паскалевского отчаяния рождается подлинная тоска по Богу Живому, которая приводит его к религиозному восприятию мира, к интуитивно верной расстановке духовных ценностей.

Путем художественного анализа автор создает живую картину современного общества России сталинской и послесталинской эпохи. Перед глазами читателя встают две возможности будущего: конец человечества или его новый духовный взлет. Наша эпоха определяется автором как время «небывалых подспудных религиозных поисков», «небывалой переоценки ценностей».

Следует отметить также одну характерную черту «Откровений...»:

наибольшее влияние на автора оказал мыслитель прошлого века Н. Ф. Федоров своей «Философией общего дела», в которой странным образом сочетаются материалистические элементы с религиозными. С Н. Ф. Федоровым Вельский призывает всё человечество к общему труду по воскрешению мертвых.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ Ю. ГАЛАНСКОВА

Автор «Откровения...» пишет:

«...дела человеческие, при всей их обреченности и бессмысленности, есть гигантский вызов времени, вызов небу и Богу. Только в них человечество оправдывает свое существование...»

«Пусть оно угаснет, но порыв прекрасен».

«Его моральные, духовные, материальные ценности дают стимул жизни и развитию».

Но если именно дела человеческие (пусть даже «при всей их обреченности и бессмысленности») оправдывают человеческое существование, то пусть эти дела будут направлены именно на создание ценностей, стимулирующих нашу жизнь и ее развитие.

К сожалению, именно такой подход к проблемам человеческого бытия мало интересует автора. Разворачивая перед нами глубоко осмысленную картину человеческого трагизма, автор только вскользь ставит серьезнейший вопрос нашего времени:

«Или это конец, или подготовка нового взлета духовности».

Ответа на этот вопрос он не дает. Однако я беру на себя смелость ответить. Мой ответ прост.

Если после тридцати лет моральной деградации и духовного рабства в России могло появиться подобное произведение, то очевидно, что Россия встала на путь «подготовки нового взлета духовности».

Я беру на себя смелость заявить, что «Откровения Виктора Вельского» является самым значительным (и, пожалуй, единственным) памятником отечественной литературы второй четверти XX века. К сожалению, автор не только не может опубликовать своего произведения, но и вынужден скрыть свое имя под псевдонимом. Это обстоятельство только лишний раз приводит меня к выводу, что ни одно действительно значительное произведение не может родиться в недрах ССП и ни одно значительное произведение не может быть опубликовано на страницах официальной печати. И такое положение будет сохраняться до тех пор, пока в России не будет обеспечена подлинная свобода творчества.

Апология Виктора Вельского

То, что я написал здесь, является моей апологией и одновременно моей исповедью. Я рассказал, как я пришел, или меня привели, к тому последнему решению, для объяснения которого я и пишу все это. Я не скрыл ничего, разве что в спешке, торопясь, не все осветил полно, так, как бы хотелось. Я сказал то, что должен был сказать, не заботясь о слоге, а только о правде, правде моей души. Кому и когда попадет в руки моя тетрадь и кто прочтет её, меня мало заботит. Я должен был высказаться перед самим собой и сделал это.

С чего начать? Следуя классической традиции, начну с дяди.

«Мой дядя самых честных правил...»

Для меня это не просто шутка. Мой дядя многое сделал для меня, я обязан ему как своему второму отцу.

Мой дядя был профессором, доктором искусствоведческих наук, специалистом по средневековому искусству, старым и одиноким человеком. На склоне лет ему захотелось осветить своим интеллектом одно юное существо, то есть меня. Мне в то время было четырнадцать лет, моя мать только что вторично вышла замуж после гибели на фронте отца, журналиста. Моя мать быстро утешилась в новой семье и нашла в ней свой кусок счастья, с первым мужем, моим отцом, насколько помню, она жила недружно и почти врозь. Я возненавидел ее новую семью, ее новых детей и был счастлив, когда однажды к нам пришел сухой чопорный джентельмен почти в диккенсовском стиле и сказал, что в сложившихся обстоятельствах долг перед покойным братом заставляет его принять на себя воспитание мальчика, то есть меня. Мать и отчим поговорили между собой и решили, что пусть я проживу у дяди, он профессор, а у профессоров денег много. Для них тем самым гора с плеч свалилась. Вскоре, после того как я водворился у дяди, отчим вышел в отставку, продал нашу московскую квартиру и переехал в Крым, где купил домик с виноградником в курортном местечке. Они живут неплохо, можно сказать, припеваючи, отчим получает пенсию, подторговывает самодельным винишком, сдает комнаты приезжим, у них двое детей, обо мне они вспоминают редко, я о них тоже, но бывают случаи, когда хочется повидать мать, я приезжаю, встречают меня хорошо, а когда уезжаю, бывают еще больше рады...

Таким образом, я, одинокий, фактически брошенный семьей ребенок, водворился в квартире старого холостяка, не знавшего до сей поры (и позже) никаких семейных привязанностей. Я жил

так, как не жил никто из моих сверстников. Черная пыльная маленькая квартирка, заставленная книжными шкафами, слепки с порталных фигур готических соборов, распятия, мадонны, на окнах витражи — даже солнечный свет не заглядывал к нам. И молчание, молчание, молчание... Молчал дядя, приходя с лекций, молчала стряпавшая у нас и прибиравшая в комнатах старушка Христина Никоновна. Молчали книги, реликвии, стены, все. У дяди не было ни радио, ни телефона. Никто не приходил к нам, тоска была до жути. Таково было мое «чувствительное воспитание». Оно нанесло мне незалечимые душевные травмы.

Воспитывать меня дядя не собирался, да и не мог. Я делал что хотел, лишь бы не нарушал водворенный в квартире строй благочиния. Из меня не вышел сорванец, я слишком был всегда уравновешен для этого, но из меня вышел маленький крот, искавший выхода наверх, на свет. Друзей по школе, по улице у меня не было, да и быть не могло — сверстники инстинктивно чувствовали во мне не своего, преследовали и изводили меня. Я много читал, даже чересчур много, столько лишнего, обременяющего, что даже сейчас при мысли обо всем прочитанном у меня начинает болеть голова. Учился я средне, не потому, что всегда неохотно готовился к урокам, а потому, что не любил много говорить и всегда отвечал односложно. В старших классах меня звали «молчальником», «затворником», «схимником», но меня уважали за молчаливость, молчаливых и сдержанных всегда уважают. И это свое молчаливничество я хранил до семнадцати лет.

В семнадцать лет я прочел всего Ницше и всего Анатоля Франса. Франс дал мне речь, научил говорить смело, непринужденно, иронически. Ницше укрепил во мне сознание своей личности, своего человеческого достоинства. Новые парадоксальные и вольные идеи вскружили мне голову. «Тра-ра-ра! И, подобно Трубадурам, между святостью и блудом протанцую танец свой!» Да здравствует «веселая наука», мы не мыслящие лягушки, будем сильнее, злее, глубже и прекраснее! Выздоровление духа — это было то, что мне надо. Подобно Заратустре, я покинул свою ненавистную пещеру и вернулся к никогда не любимым мною людям.

В Ленинской библиотеке, куда я стал ходить заниматься, я нашел себе компанию. Это были люди старше меня, иные значительно, они приняли меня как равного. Все они что-то писали, сочиняли и мечтали о незаурядном будущем. Они всё понимали, люди были умные, начитанные, поэтому ни о чем зря не болтали, а вместе собирались с веселыми девицами, пили, дурачились.

В это время я уже учился на философском факультете МГУ. Поступил я туда в 1948 году с огромнейшим трудом, отчасти благодаря дядиному имени и протекции его друга, профессора А. Я поступал, мечтая о систематическом изучении науки наук (я тогда еще мог о чем-то мечтать), но очень скоро раскаялся. Философии не было в помине, мы изучали марксизм. Время было страшное. Недавно были опубликованы драконовские ждановские постановления по идеологическим вопросам, и, хотя сам Жданов умер, веял его грозный, ненавидящий культуру дух. Со страниц газет и журналов мелькали слова «низкопоклонство перед западсм», все больше входило в обиход погромное словцо «космополит». Был расформирован Музей нового западного искусства, была запрещена джазовая музыка, книги современных западных авторов были объявлены крамольными. «Кремлевский затворник» молчал, изредка величаво отвечая на вопросы «корреспондента 'Правды'». Шли массовые аресты.

Арестовывали интеллигенцию, с кафедр снимали профессоров. По факультетам шли собрания, где студенты громили космополитов-профессоров. Профессора каялись и поливали грязью друг друга. Каждый из них восходил на трибуну, благодарил за принципиальную критику, низводил себя до ничтожества, затем начинал поносить кого-нибудь из своих друзей. Предательство процветало. На нашем факультете сняли профессора А. Рассказывали, что старик никуда не выходит из дому, а под койкой у него стоит готовый чемоданчик с бельем, заготовленный еще с 1937 года. Жена его продавала вещи, дочка ушла от родителей.

Моего дядю, разумеется, тоже сняли. Уж он-то был очевидный западник и «низкопоклонник», он вообще ничего не признавал, кроме средневековья, наиболее целостной культурной эпохи, по его мнению. Выскочки студенты спрашивали его, как он относится к советскому искусству, дядя чистосердечно отвечал, что не знает такого. Эта неосторожная фраза лишила дядю места. Вместо дяди курс искусства средних веков стал читать какой-то мальчишка-аспирант. Как ни странно, студенты ценили дядю и, когда его отстранили от дел, однажды пришли к нам с цветами и благодарили за лекции. Дядя не любил проявления лишних чувств и быстро выпроводил их. Он начал писать книгу.

Но арестовывали не только взрослых и известных лиц, террор коснулся и молодежи. Несколько студентов исчезло с нашего курса. О них сразу же постарались забыть. В это время я почувствовал, что черная туча может задеть и меня. Как только сняли дядю, я заметил, что отношение некоторых ребят ко мне, в осо-

бенности тех, что были на общественной работе, переменялось, меня стали избегать. Но опасность шла не с этой стороны. Дело было в нашей компании. Хотя мы и старались избегать скользких тем, разговоры не могли не касаться происходящего. И было еще нечто неуловимое в нашей компании, что говорило о том, что дело неладно. Мне хватило ума перестать встречаться с ними.

Но было уже поздно. Как-то в перерыве между лекциями ко мне подошел Н. — он учился этажом выше, на философском, и сообщил, что взяли Т. Т. был не из нашей компании, но хорошо знал всех нас. Круг смыкался. Не беда, что в кругу сидели невинные зайцы, кого это могло интересовать? Охота шла по нашему следу, и доказывать, что ты невиновен, было поздно. Главные «улики» против нас могли быть такими: во-первых, есть компания, и компания постоянная, во-вторых, компания, непонятно чем занимающаяся, в-третьих, все участники компании — близкие родственники репрессированных либо опальных лиц. Вывод был ясен — это компания не с добрыми намерениями.

Это было страшное, отчаянное чувство — ощущать себя без вины виноватым. Получалось так, что мы были внутренне виновны: мы, не высказывая вслух, были против того, что происходило, вернее мы не были «за», и у нас была некоторая солидарность. Кто-то уже наблюдал за нами, это было ясно. Может быть, среди нас уже был предатель. Это был какой-то неотвязчивый кошмар. Так бывает только во сне, у меня был такой сон в детстве: немец-офицер наводит на меня пистолет, я падаю на колени, умоляю, кричу, сейчас последует выстрел, а я не могу проснуться... Это дикое животное чувство ужаса сейчас воплотилось в реальность. Спасения не было. Был страх. Напрасно я успокаивал себя, что ничего не случилось, что все это пустяки, что я запугал себя. Страх ежеминутно тряс меня. Во мне одном сгустился тот страх, который витал над нами всеми. Я не мог его перенести. Я струсил.

Особенно на меня повлияло одно событие, которое вряд ли было случайным. На семинаре по диамату меня вызвал преподаватель. Здесь же зачем-то был парторг курса, хотя он учился не в нашей группе. Я ответил, что требовалось. Но дело было не в ответе, дело было во мне самом. Это был их не новый прием. Так же они поступили с одним узбеком. Этот парень, немного больной, увлекся Ганди, прочитав о нем у Роллана, и всем стал проповедовать его идеи. Его хитро спровоцировали на семинаре, он пооткровенничал, а через несколько дней рано утром его взяли тепленького прямо с койки в общежитии. Он оказался «буржуазным на-

ционалистом». Это был факт. Наверное, так же хотели поймать и меня. Преподаватель ставил мне хитрые вопросы о связи теории с практикой, о догматизме, о том, как надо понимать постановления партии по идеологическим вопросам, но за всем этим крылось колючее ожидание, что я скажу что-то не так. Я ответил как полагалось, но этот тип все же нашел нужным долго распространяться о вреде догматизма, о том, что мало знать марксизм на словах, надо быть преданным ему душой и т. п. Намеки били по мне. Я должен был что-то сделать. Терять было уже нечего. Оставалось одно — играть ва-банк, сделать последнюю ставку отчаяния. Это был мой ход конем. Отчаяние вернуло мне разум и дало силы.

Когда преподаватель кончил свои речи и собирался давать задание на следующий семинар, я встал и попросил слово. Мне почудилось, что глаза у него и у парторга злорадно вспыхнули. Аудитория напряглась. Я стал говорить нарочито тихо, не поднимая голоса. Я говорил, что «вы (т. е. преподаватель) говорили сегодня о связи теории с практикой, о догматизме и начетничестве, явно имея кого-то в виду. Поскольку никто сегодня не выступал кроме меня, речь шла, видимо, обо мне. Не знаю, за какие грехи я стал объектом вашей критики. Я еще только начал учиться, и ничего плохого обо мне вам неизвестно. Вы знаете только то, что мой дядя, профессор Вельский, в стенной газете назван космополитом. Но почему племянник должен отвечать за дядю? (При этих словах в аудитории даже засмеялись, хотя все понимали скверность положения.) Я не имею ничего общего со своим дядей. (Так я отрекся от дяди!) Вы же нарочно противопоставляете меня коллективу. (Я бил его же оружием — демагога демагогией.) Вы создаете мне невыносимые условия для учебы. Все это заставляет меня покинуть ваш семинар и просить деканат перевести меня к другому преподавателю. С этими словами я вышел из аудитории.

Они перепугались. Я избрал правильную тактику — я не оборонялся, не каялся, я нападаю, обличал. К тому же я тайное сделал явным, я назвал вещи своими именами, а ведь на словах у нас признается, что дети не отвечают за своих родителей. На перемене меня разыскал парторг, подделываясь под дружеский тон (какая все это сволочь!) говорил, что я напрасно погорячился, никто не имел меня в виду и незачем идти мне в деканат, все и так будет хорошо, что, конечно, дядя не при чем, что товарищи меня уважают и т. д. Было очевидно, что он не хочет, чтобы я выносил сор. Я ответил, что ни на кого не в обиде, но в другую

группу перейду. Отступать мне было нельзя, они постарались бы добить меня (что им впоследствии и удалось). Ребята же поздравляли меня, ругали преподавателя за бестактность (только-то?) и действительно стали иначе смотреть на меня и даже уважать.

Но уважать меня было не за что. Здесь я должен совершить самое тяжелое признание, по сравнению с которым все проделки несчастного сексуального психопата Жана-Жака Руссо — детские шалости. Я не возвышаю и не умаляю себя. Это самое позорное и несмыслимое воспоминание моей жизни. Я совершил предательство.

У меня хранились рукописи одного из членов нашей компании Р. Он недавно принес их мне, просил сохранить, а сам куда-то исчез. Р. хотел стать писателем. У него были кипы стихов и рассказов. Кажется, у него были способности. Он разрешил мне читать свои опусы, я их читал, ничего там особенно страшного не было, но было в них то, что называется словом «не наше». Теперь я с ужасом думал, что будет со мной, если на дом нагрянут с обыском. А это неминуемо должно случиться, раз взяли Т. Даже если бы Т. стал молчать, все равно моя фамилия в его записной книжке. Они перевернут всех причастных и не причастных. Что было делать? Как спастись? Улики против меня были налицо. Я хранил крамольную литературу, укрыл ее, не донес, следовательно, становился соучастником. А я и без того был причастен к компании. Выхода не было. Оставалось одно — преступить.

Я рассуждал так (рассуждал довольно здраво для своих восемнадцати с половиной лет). Следует разыскать Р. и отдать ему рукописи, но... 1) Р. куда-то исчез; 2) он, видимо, о чем-то догадывался и принес ко мне рукописи, чтобы скрыть их; 3) следует рукописи уничтожить; 4) уничтожить рукописи бесполезно, т. к. о существовании их может сказать в МГБ сам Р., и тогда я пропал. Больше того, сжигая рукописи, я только усугубляю свою вину — станет очевидным, что, уничтожая улики, я веду себя как преступник; наконец 5): Р. мог быть провокатором, всучив мне бумаги, которые боится хранить сам; 6) в лучшем случае Р. просто дурак, который губит себя и других.

Да, я был умен не по летам (умен!) и слишком хорошо понял, чем все это мне грозит. Однажды, перед войной, мне было лет десять, я подслушал разговор отца с матерью о тридцать седьмом годе и помнил до сих пор различные случаи, когда человек пропал за чужую троцкистскую книжку.

Других выходов не было, надо было преступить. Надо было отнести рукописи в МГБ и рассказать все как есть. Тем самым я

предавал всех и спасался сам. Или я должен был сидеть и покорно ждать, пока случится неминуемое.

Я шел по улице и, несмотря на хмурую осеннюю погоду, ощущал, что этот мир прекрасен. Люди ходят, смеются, живут как всегда, и пусть где-то рядом творится ужас, жизнь идет. А я буду вырван из этой жизни, и за что — из-за чужой глупости! Да и кто мне эти люди, дороги они мне? Нет! Что они есть, что нет, я останусь самим собой. Стоит только преступить, и жизнь будет моя, ведь их уже ничто не спасет, а я еще имею шансы выкарабкаться.

Я ходил по улицам и убеждал себя, что иначе поступить не могу. Я буду подлец, а Р. — не подлец, подсунув мне свои бредовые каракули? Ведь все равно, так или иначе, все они погибнут, а один спасется. Значит, пусть спасается один. Они сами виноваты, что дошли до этого. Они виноваты, а я? И я тоже, что вел себя так неосторожно. Но я — меньше всех, за что же мне страдать наравне? Нет, не хочу! Они это они, а я это я, существо, воспринимающее мир, которого не будет, если меня не будет. Так мне помогал мой юношеский солипсизм. Так он спасал и губил меня.

Страшнее всего было решиться. Гораздо страшнее, чем просто ждать. Ведь решиться было действие, более трудное, чем пассивное ожидание. И как мне не хотелось решаться! Как снова начали приходить спасительные мысли, что мои страхи напрасны, что я все это выдумал, что мне ничего не грозит. Но я переубедил себя. Я знал, что были взяты тысячи таких же невинных людей, как и я. Их ничто не спасло. Чуда не случилось. Мне надо было не ждать, а спастись.

Потеряв голову, в сумасшедшем порыве, я схватил рукописи и бросился в МГБ. Я знал, что приемная Госбезопасности находится на Кузнецком, и шел туда. Даже сейчас, спустя десять лет, мне отвратительно вспоминать, что я делал и что говорил. Я попал к какому-то обыкновенному, довольно равнодушному типу в штатском. Я сказал, что хочу сделать особое заявление. Я сказал, что у меня по ошибке хранились рукописи моего знакомого... (Сразу же вопрос: «Какого знакомого?» — Р. — Записывает. — «Так, продолжайте».) Я их не читал некоторое время, но, убедившись в их неподобающем содержании, пришел к вам, чтобы узнать, что мне делать. Последовали вопросы: «Кто такой Р.? Откуда вы его знаете?» и прочее. Я рассказал о нашей компании, я выдал всех. Он попросил сесть вот за тот свободный стол и изложить все письменно. Я написал все, что говорил ему. Он бегло

просмотрел листок, сказал равнодушно: «Хорошо, разберемся». — «Эти рукописи останутся у вас?» — «Да, у нас. Идите. Если понадобитесь, вас вызовут».

Я вышел на улицу, чувствуя странное и неуместное облегчение. Вокруг шла жизнь, и я снова мог жить. Странно, но ощущения сделанной подлости не было. Оно пришло позже. А пока я шлялся по улицам, ощущая за плечами свободу. Но внутренне, в душе, в сердце я разом засох, зачерствел, разом пропали юношеская робость и застенчивость, мне стало море по колено. Теперь мне было все позволено, раз я преступил. Да, это было захватывающее чувство отсутствия высотобоязни — смотришь вниз и не боишься.

Чтобы проверить себя, я пошел к знакомой девчонке, перед которой робел. Я был возбужден, оживлен, смел. Я ловил на себе её удивленные взгляды. Я чувствовал, что нравлюсь ей. Но сейчас она была не нужна мне, как и никто не нужен.

Вечером, дома, мне снова стало страшно. Но я так устал за этот день, что более или менее благополучно заснул. В последующие дни страх терзал меня неотступно. На занятия не ходил. Вообще эти дни ничего не мог делать. Только бродил по улицам, заходил в пивные, там было легче среди пьяного гама и незнакомых людей. И в кино, в темноте, тоже можно было спастись.

А когда через два дня я поздно вернулся домой, оказалось, что у нас был обыск и меня ждут. При обыске они не взяли ничего, даже извинились перед дядей, а меня попросили поехать с ними. Однако ордера на арест не предъявляли, это вселяло надежду. Дядя совсем потерялся и потрясенно смотрел мне вслед.

Меня привезли в МГБ. (Ехали на машине, она стояла в стороне у нашего дома.) Провели по убийственно тихим коридорам — длинный коридор, прямая дорожка ковра, уходящий вдаль ряд потолочных ламп, по бокам одинаковые дубовые двери с номерами и ничего больше, не было даже пепельниц.

Со мной беседовали трое в штатском. Один из них, старший, как я понял, был и главным, хотя сидел поодаль. Они задавали мне вопросы, старались сбить, уличить в чем-то недосказанном. «Учтите, с нами нужно говорить правду, — говорили они. — Так и вам будет лучше». Разговор был довольно вежливый, без угроз. Я говорил так, как надо, никого не поносил, отвечал коротко и ясно. Но этого им было мало, они все время хотели чего-то большего и чрезвычайного — им мерещилась подпольная террористическая группа и ордена и премии за ее раскрытие. Этого я им предложить не мог, я был предателем, но не клеветником... Впро-

чем, зачем мне оправдываться, раз я был подлецом. Я сказал, что в нашей компании были нездоровые настроения, в чем меня убедили рукописи Р., но больше ничего не было. — «Вы в этом уверены?» — с иронической улыбкой спросил самый младший, он сидел за столом и все записывал. — «Да, я так думаю». — «Ах, думаете...» — «А как по-вашему, — сказал другой, — к чему могли привести эти нездоровые настроения?» — «Я знал, что ни к чему хорошему, поэтому и пришел к вам». — «Вы нам чистосердечно говорите, Вельский, — сказал самый старший, — как вы дошли до жизни такой? Как получилось, что вы оказались связанными с врагами народа?»

Я понял, что дела мои могут быть плохи и спасти меня может только новая подлость. Я изгибался по-всякому, говорил, что поздно понял, но все-таки понял и пришел сам к вам (я бил на это), я рассказываю вам все, что знаю, и отвечу на любой вопрос. Они хотели, чтобы я дал характеристику каждому из нашей компании, я дал. Они хотели, чтобы я вспомнил, что говорил тот или другой, я вспоминал. Я выложился весь. Я дошел до какого-то странного гипнотического состояния, в котором верил, что все мои бывшие друзья действительно враги. «Говорите, говорите, — поощряли они. — Мы о вас все знаем, не беспокойтесь». Когда я исчерпался, а они устали, двое, видимо, удовлетворенные, ушли, а тот, что за столом, долго писал протокол допроса. Получилось тридцать две страницы. Он дал мне прочитать. Протокол был составлен так ловко и гладко, что действительно получалось, что мои товарищи — враги. Я подписал каждую из тридцати двух страниц, не раздумывая. Теперь мне было все равно, я подписал бы что угодно. «Ничего не имеете добавить?» — спросил эмгешник. — «Я хотел бы занести сюда факт моего чистосердечного признания!» — «Этого не надо, — улыбнулся он. — У нас есть ваше заявление, достаточно». Он аккуратно сложил листки протокола и спрятал их в ящик, заперев его на ключ. Потом с наслаждением закурил, улыбаясь и поглядывая на меня. Он молчал и наслаждался, подонки, своей властью, моим напряженным ожиданием. Выкурив сигарету до половины, он загасил ее, взял какой-то бланк, что-то черкнул в нем. «А вдруг? — ёкнуло сердце. — Но за что? Я же всё им сказал...» «Идемте. Одевайтесь», — он вывел меня из кабинета, запер дверь, зашел в соседний кабинет, скоро вышел оттуда и повел меня по коридору и лестницам. Наконец мы вышли в вестибюль бокового подъезда, где стоял дежурный. Мой сопровождающий протянул ему бланк, я понял — это был пропуск, пропуск на жизнь. «Можете идти», — сухо сказал он

мне, не прощаясь, повернулся и ушел. Дежурный проверил пропуск и паспорт, взглянул на фотокарточку и на мое лицо, вернул паспорт и молча кивнул мне на дверь.

Никогда с такой жадностью я не вдыхал холодный осенний воздух. Уже занималось утро, синева висела над домами, над городом летали и кричали вороны, шуршала метла дворника по асфальту. Я был свободен. Сзади недремлющим оком горели окна здания МГБ.

Дома меня встретил бледный, перепуганный дядя, конечно, не спавший всю ночь, и я понял, как он любил меня! А я был негодяем и предателем! Но разве я, только я виноват в этом предательстве? Кто довел меня до этого, кто сделал меня предателем? Да разве один я? — было время сплошного предательства! И пусть мне скажут, у кого еще осталась чиста совесть?! Все мы предатели, большие и совсем маленькие, явные и неявные, предатели своей пассивностью, своим страхом, своим лицемерием, своей ложью! Так чего стыдиться себя, восемнадцатилетнего перепуганного ребенка! Взгляните на другие примеры, на больших. Позор на нас!

Я вкратце объяснил дяде, в чем дело, просил не беспокоиться; о главном, о своем предательстве, я никому не говорил, да и никому было говорить, потому что никогда не было у меня близких друзей. Да и какому близкому другу скажешь такое! Не узнали об этом и преданные мною товарищи, напротив, некоторые из них, как я понял, выгородили меня, показав мою непричастность. Не знают и те, кто вернулись. Пусть это узнает тот, кто прочтет эти строчки, друг или недруг, и пусть поймет, что значит быть предателем!

Мучительно вспоминать всё это, еще мучительнее думать, что я погубил неповинных людей и, если бы не моя трусость, ничего бы не было. Сейчас мне кажется, что легче отсидеть любой срок, чем носить на себе такое пятно, но я не обманываюсь мнимым благородством, это только кажется, и я на всю жизнь останусь подлецом и предателем.

Если бы этого не было, если бы этого не было!

Как пишут в романах — «время шло». Меня еще два раза вызывали в органы, требовали новых показаний, уточняли старые. При последней встрече со следователем мне было сказано напутствие: я должен подумать над всем случившимся, оно должно стать для меня хорошим уроком, к суду меня решено не привлекать, но я должен помнить, что меня не оставят без внимания. Он намекнул, что я у них отныне на примете и меня еще могут

использовать. Этот разговор я вспомнил через два года, а тогда я радовался, что кошмар миновал меня. В юности раны заживают быстро. (Неужели сейчас я так стар?)

Я стал жить, опять же как пишут в романах, «чувственными радостями». Я ни с кем не сближался, не заводил близких друзей. Знакомства мои касались только моих развлечений. Разумеется, на факультете о моей личной жизни никто не знал. У нас царила аскетически-ханжеская атмосфера, и всякое развлечение — выпивка или близость с женщиной — считалось грехом для будущих работников идеологического фронта. (В те благодатные годы за прелюбодеяние выгоняли из комсомола. Слава Богу, я не был комсомольцем, а наши деятели всегда сторонились меня, чувствуя не своего, и в организацию не тянули.)

Общественная истерия между тем накалялась. Если раньше она была провоцируема сверху и террор не доходил до сознания масс, то теперь всех охватило гнусное злорадство, все хотели бить космополитов — пахло кровью. Этот исторический запах ощутим только современниками. Славословия Сталину достигли изуверской степени. На трибунах иступленно бились кликуши обоего пола. При возгласе «за здоровье» все вставали и дружно стучали костяшками пальцев, эти люди-скелеты. Чем выше рос культ, тем больше нужно было выискивать новых врагов. Сатурн пожирал своих детей. Боги жаждали.

С дядей творилось что-то неладное. Все дни он проводил в чтении латинских книг и постоянно что-то шептал. Однажды я возвращался от любовницы, ее можно было назвать этим словом, это была настоящая женщина, надменная, красивая, знающая себе цену, связь с ней льстила мне и кружила голову. Она жила в переулке, вблизи костела, и когда я выходил от нее, довольный собой, как раз народ шел из храма. Я остановился, чтобы взглянуть на чудаков, которые еще верят в Бога, как вдруг в толпе благообразных стариков и старушек увидел своего дядю! Наверное, он заметил меня, но не подал виду, я тоже. Дядя стал верующим католиком. Средневековье окончательно поглотило его.

С дядей на эти темы я не говорил, мы тогда почти не разговаривали. Не о чем было говорить, мы таились друг от друга. Жизнь шла странно. У дяди были какие-то сбережения, и мы существовали на них. Несмотря на стесненное денежное положение, он никогда не брал у меня стипендии, и я пользовался ею по своему усмотрению. Мною овладела нестерпимая опьяняющая жажда жизни. То, что было всегда мне внутренне чуждо, теперь

стало для меня едва ли не главным. Я ходил по паркам и танц-площадкам, по кафе и ресторанам, ходил на стадион, фланировал по улице Горького. Я даже научился танцевать. «Брать от жизни всё, что она может дать», — думал я. Учился я обыкновенно, выполняя всё, что требовалось. Это было не очень обременительно. Главное было — брать от жизни всё и уцелеть.

Через два года после той истории, это было летом, мои «знакомые» с Лубянки напомнили о себе. Однажды утром, когда я был один в квартире, раздался звонок. Вошел молодой человек определенной наружности. Я всё понял. Он показал удостоверение, начал что-то говорить, осматривая стены, вроде: «У вас, как в музее...» Потом вежливо попросил, «если у вас есть время», проехать с ним. Я ехал и соображал — в чем дело и чего от меня еще хотят.

Меня провели в другой кабинет, там было двое, один из них тот, старший. «Ну вот, как видите, мы вас не забыли», — сказал он, посмеиваясь. Потом помолчали и спросили: «Товарищ Вельский, вы знаете, зачем вас вызвали?» — «Нет». — «Расскажите, как вы жили с тех пор». Я сказал, что ничего интересного в моей жизни не было. Спросили, как учеба. Потом еще что-то. Узнали, что я не комсомолец, покачали головами. И так некоторое время, прощупывая, о том, о сем. Интересовались умонастроениями моих сокурсников: «А вы ничего такого не примечали?» Я понял, куда они клонят, и весь напрягся. Теперь во мне не было страха, была ярость. Вот чего они от меня хотят! Раз я совершил подлость, я должен совершать ее без конца! Нет! Теперь нет и никогда!

Наконец разговор подошел к главному пункту: «Товарищ Вельский, а вы не могли бы нам помочь?» — «Чем?» — «Я пока не говорю чем, я спрашиваю ваше согласие». — «Я не могу давать согласия, не зная, в чем дело». Тогда другой стал мне терпеливо и всё больше намеками объяснять, что цель врачей не только в лечении болезни, но и в ее предупреждении. Так и в деле общественных врачей — органов безопасности. Конечно, это работа неблагодарная, но нужная, как вы считаете? Я соглашался, что нужная (чтоб вы провалились!). Их интересует, что думают люди, о чем говорят, что читают, каково их умонастроение и всё такое прочее. Я вращаюсь в кругу студентов и мог бы давать им информацию подобного рода. О подробностях они скажут потом. «То-есть вы хотите, чтобы я стал осведомителем?» — спросил я в упор. Я уже не боялся их. Они кивнули. «Боюсь, что не смогу жить двойною жизнью. Это не моя роль, я нервный человек и

только всё испорчу». Тогда один из них сказал: «Вы, Вельский, умный человек и не прикидывайтесь простачком. В свое время мы простили вас, сейчас вы должны искупить делом свою вину перед родиной». Другой сказал мягче: «Мы не будем торопить вас с решением. Дадим вам, чтобы подумать, скажем, неделю. Придете через неделю и скажете, как вы решили. Пропуск вам будет заказан».

Выйдя из МГБ, я ненавидел всех их так, как нельзя ненавидеть отдельного человека. Если бы можно было взорвать эту Бастилию и на ее месте вывесить объявление «Здесь танцуют!» Танцевать-то будут, но кто уверен, что люди не построят новую Бастилию, еще хуже?

Мне хотелось одного — сбежать на край света и сидеть там в норе. Но куда? Где спрячешься от них? Оставалось одно — честно встретить опасность. Пусть я понесу возмездие за предательство. Я его заслужил и теперь встречу как должное. Я стал даже радоваться возможности принять искупление, совершив честный поступок.

Что спасло меня? Бог или случайное вмешательство обстоятельств? (И действительно, что хранит меня в жизни? Какие силы? Кому я служу и кто сберег меня от пропасти? Бог или дьявол, добро или зло?) Я получил телеграмму из Крыма, что моя мать тяжело больна. Я вложил телеграмму в конверт, приложил записку и сдал конверт в приемной в окошечко кабины, похожей на телефонную будку.

К счастью, мать поправилась, и всё обошлось хорошо. Я повольтоничал в курортной обстановке, вернулся через месяц к началу занятий, и больше в органы меня не вызывали. То ли они забыли обо мне, то ли у них была очередная пертурбация, не знаю. Да и дела надвигались более серьезные, чтобы возиться со всякой мелкотой. Вскоре были арестованы «врачи-отравители», пахло антисемитизмом, и он поощрялся.

На факультете мои дела были плохи. То ли они спутали меня с евреем, то ли им потребовался новый разгром выдуманных противников, но гроза надо мною сгущалась.

Да, это было жестокое, кровавое время, и сейчас еще мне непонятно, как мы тогда жили. Надвигалось что-то зловещее, пожалуй, апокалипсическое. Общественная истерия всё нарастала, и, казалось, вот-вот все вокруг и ты забудется в чудовищном припадке. Враги считались везде: вовне с ними надо было воевать, и дело к тому шло; враги были внутри, их надо было разоблачать, звучали речи о бдительности. Теперь за донос не только сохраня-

ли жизнь (так было и прежде), но и давали ордена вместо древних сребреников (знаменитой «разоблачительнице» врачей, агенту МГБ Лидии Тимашук). Должно было произойти нечто настолько ужасное, что должен был побледнеть и 37-ой год и 49-ый. Выхода из кошмара не было, всё притихло и замерло перед близкой бурей.

Славословия Сталину достигли такой гигантской неприличной степени, что всё это начинало походить на усмешку дьявола. В нем безусловно было что-то дьявольское, от князя тьмы. Вышел новый (тогда еще никто не предполагал, что последний) труд «величайшего гения современности, корифея наук...» — «Экономические проблемы». Уже не хватало слов высказывать свой очередной восторг — в великом и могучем русском языке не оставалось более неиспользованных льстивых слов. «В нем каждое слово, каждая буква...» — захлебывались наши профессора. Примитивные, убогие мыслишки впавшего в маразм «корифея» обмусоливались со всех сторон на экстренных спецсеминарах по «гениальному труду». От этой жвачки, переключиваемой изо рта в рот, тошнило даже самых верноподданных сталинистов, а такими у нас на факультете были почти все.

Гроза надо мной должна была неминуемо разразиться. Факультету, нашим курсовым деятелям необходимо было сенсационное дело — был самый разгар кампании за бдительность. Наше развитие вообще таково, что всегда должен отыскаться кто-то против. Так началось, так продолжается до сих пор. Это неизбежно. Нужен был злодей, новым идолопоклонникам была нужна человеческая жертва. Это было уже в крови масс, они воспитывались на этом — на процессах и разоблачениях. «Насилие — повивальная бабка истории», — эту идею лучше других усвоили марксистские ацтеки.

(Люди! Вы больше идолопоклонники, чем мирные язычники, вы приносите в миллион раз больше человеческих жертв, чем все кровавые культы прошлого, вы, люди двадцатого века! Под личиной цивилизации спрятан такой зверь, какого нет среди диких зверей. Этот Зверь способен погубить всё и погубит всё.)

Была допущена и мною ошибка — в то время, когда все вокруг кричали о бдительности, сам я ослабил бдительность и однажды попал впросак. Я отвечал на семинаре, не подготовившись, о производственных отношениях и напорол чушь, вернее, забыв слова «корифея», сказал, как трактовал Маркс. Здесь была хитрая неувязка у корифея, и ее всячески затушевывали. Моя ошибка была растолкована не иначе как «враждебная вылазка».

Вскоре в факультетской газете обо мне появилась разгромная статья. Там говорилось, что, помимо «вылазки», Вельский также не участвует в жизни коллектива, сторонится коллектива, является человеком чуждых взглядов, разносчиком буржуазной идеологии, о чем свидетельствует его курсовая на III курсе, где он отстаивал буржуазно-волюнтаристский взгляд на экономику. Сейчас это анекдотически смешно, тогда было печально. Готовилось специальное собрание с целью вывести меня на чистую воду. Снова я попал в западню.

Выход был — цинически простой. Пойти в органы, напомнить тот разговор, заявить свое согласие стать осведомителем. Всё сразу прекратилось бы, я бы мог учиться и даже пойти в гору. Но это было для меня не только невозможно, больше, до такой невозможности гнусно, что лучше что угодно — смерть, тюрьма, чем это. У меня появилось такое неодолимое отвращение к моему окружению, что не только ходить на занятия и видеть лица моих милых коллег, но и само здание университета, построенное, как гласит надпись, зодчим Казаковым и перестроенное Джиллярди, я видеть не мог и старался обходить за версту, так же, как и здание МГБ. Эти два учреждения мало чем разнились в моих глазах. Везде было одно сплошное МГБ.

Мною овладела апатия, нежелание чем-либо заниматься, к чему-либо стремиться. Вера в ценности, которые могут существовать для человека, была окончательно подорвана. Может быть, мне было бы легче, если бы меня посадили. Сейчас я жил под самоарестом, в какой-то прострации, в давящем отупении. Система Шигалева (героя «Бесов») коснулась и меня. «Мы всякого гения потушим в младенчестве», — говорил тот. Ну, а не гения довести до младенчески-идиотического состояния и того легче. Даже ненависти к системе, к органам угнетения у меня не стало. Я жил фантастической жизнью. Жить дневной жизнью с ее людьми, газетами, радио я не мог. Утро для меня начиналось вечером. Я шел либо в пустенькую молодежную компанию, либо шлялся по библиотекам, клубам, институтским вечерам, где есть молодежь и хоть какое-то подобие живых людей. «Днем», если не было продолжения завязанных знакомств, я лежал на кушетке, курил трубку, сочинял в уме химерические опусы или читал легкое занимательное чтиво. Засыпал я утром и спал долго. Этот режим так расшатал меня, что даже дядя взглядывал на меня с удивлением. Впрочем, он и сам вел жизнь затворную: сидел и писал днями и ночами, выходил только в костел, не знаю, когда он ел и спал. Я сообщил ему, что перестал ходить в университет,

он даже не спрашивал, почему. Сбережения его кончились, и он продал свой прекрасный витраж, денег должно было хватить на год. Мы ушли под землю, как два крота, и выжидали там неизвестно чего. Собственно, мы даже не выжидали, сидели под домашним самоарестом и молчали в тряпочку, без надежд, без мыслей, без чувств. И так жили все, ведь другие лишь притворялись, что они живут, а на самом деле жили тоже без надежд, с чужими внушенными мыслями и заимствованными чувствами. Тогда мы не знали и не ждали, но теперь очевидно, что всё это должно было когда-нибудь кончиться. Нам стало всё равно. А конец был близок, если только сам он не был началом настоящего конца.

Смерть Сталина потрясла всех, потрясла и меня. Пусть многие понимающие люди ненавидели сталинский режим, так или иначе мы все были его порождением, мы привыкли к нему, ко всем его ужасам, мы были его рабами. Раб свыкся с грозным господином и не знал, что без него будет. До сих пор всё сдерживалось и оправдывалось его божественным именем. И вдруг «бога» не стало. Без него людям стало страшно и пусто, ведь умер их «коллективный отец» (по Фрейду). Внушенные чувства любви заставляли их скорбеть и плакать, общественный гипноз пока еще парализовал критические мысли. И я тоже переживал всю значимость этого исторического события. Но я понимал немного больше других и знал, что хотя, по существу, ничего не изменится, но времена наступят иные. Конечно, на хорошее надеяться было нельзя, мы отвыкли от этого, но хуже, казалось, не должно было быть.

Перемены почувствовались вскоре. Отпели, отголосили по Сталину, и вдруг, как по команде, все голоса разом смолкли. Новому Маяковскому не дали развернуться. Плачущего большевика не выставили в музей. Через месяц после смерти Сталина неожиданно для всех выпустили уцелевших из «врачей-отравителей». Это было более чем удивительно: в первый раз органы угнетения шли на попятный. В людях, ждавших своей очереди, затеплилась надежда. И вообще после давящих траурных дней, надрывных речей, музыки, чего-то черного, мрачного оказалось, что наступила весна. (Эренбург позже назвал это время «Оттепелью» — очень точно.) Было солнце, и мне, казалось, снова семнадцать лет, и не было кошмара пережитого, всё хорошее было впереди, а это солнце словно я увидел впервые. Стало легче дышать, гнетущая, давящая тяжесть свалилась с плеч. Как-то на улице я встретил одного из своих коллег, еврея, достаточно порядоч-

ного, из тех, что держались в стороне. Он, не скрывая радости, сообщил, что принято какое-то решение ЦК по вопросу об исторических именах и о культе личности, что теперь не будут писать «сталинская конституция», а «советская конституция», не «сталинские соколы», а «советские соколы», также не будет историко-биографических фильмов. Итак, пресловутое словцо «культ личности», которое вскоре пустили в ход, пока еще стыдливо не называя личности, появилось уже в марте 1953 года, не износив башмаков, в которых шли за гробом «вождя и учителя». А вскоре произошли еще два чрезвычайных события: арестовали Берию и сократили сельхозналоги. Первое касалось интеллигенции, второе — крестьян. Арест Берии означал неизбежную смену аппарата ГБ, и теперь я мог забыть о своем прошлом. (Если бы смог!)

Я снова возвращался к жизни.

Из университета меня давно отчислили за неявку на занятия и экзамены. Если бы похлопотать, меня, пожалуй, могли бы восстановить, но мне всё там было настолько омерзительно, так надоело крутиться в замкнутом кругу марксизма и твердить азы столетней давности, как откровение свыше... к тому же факультет, громко именуемый философским, не давал никакой человеческой специальности. Быть диаматчиком и как непререкаемую истину подавать то, во что ты сам не веришь? Об исследовательской работе для меня, не активиста, не члена комсомольского бюро, не могло быть речи. Я уже достаточно разбирался в жизни, был лишен розовых очков и знал, что твердый кусок хлеба в наш век может дать только техника. Надо было идти в технический вуз. Это было новое насилие над собой. Я гуманитарий по влечению, и чертежи, формулы меня всегда пугали. Но надо было себя преодолеть. Я преодолел. Один знакомый, студент старшего курса одного технологического института, свел меня в компании с девицей, работавшей секретаршей в приемной комиссии. Эта девица (уже в возрасте) оказывала протекцию своим избранникам. Я добился того же и, не так уж плохо сдав приемные экзамены, стал студентом-техником.

Но душа моя не лежала к технике, я тянулся кое-как, стараясь иметь побольше свободного времени. Жил я другим. За последнее время мы сошлись с дядей и впервые по-настоящему сблизились. Дядя заметно сдавал, он стал старчески разговорчив, чего раньше за ним не замечалось. Но ум у него оставался такой же ясный. Общественное положение его укреплялось, к нему стали заходить некоторые его коллеги, не занимавшие официаль-

ных постов, предрекали ему вскоре возвращение на кафедру. Если бы они заходили раньше! Пять лет изоляции унесли последние силы старика...

Только теперь я понял, каким необыкновенным, чистым душой праведником был мой дядя, правильнее — мой духовный отец. Он рассказывал мне многое из своей жизни, ему было что вспомнить. В молодости он был религиозно влюблен в искусство. Он рассказывал, как, впервые приехав в Париж и увидев Нотр-Дам, плакал от радости. Внешне черствым его сделала жизнь, но человек он всегда был удивительно бескорыстный и добрый. В нем было что-то от доброго русского святого, какая-то невидимая сразу, но потом поражающая святая чистота (такой не может быть в людях моего поколения).

Больше всего мы говорили о Боге. Дядя очень искренне и убежденно говорил, что только в Боге нашел высшую радость, что он всей своей жизнью стремился служить Богу, только раньше он меньше думал о Нем, занятый суетой, и не исполнял обряд. Я спрашивал, почему он выбрал чужую веру, ведь наш род Вельских — духовного звания, идет от православных русских попов. Он говорил, что Бог для всех единый, а сам он всю жизнь посвятил искусству, выросшему в лоне католической церкви, ему близок его дух, его образы, он не может изменить ему. Быть может, религиозные ортодоксы не поняли бы дядю, я его хорошо понимал. Дядя не проповедовал, не убеждал меня, как иные верующие, но после этих разговоров я сам стал чаще раздумывать над вопросами веры.

Дядя был уверен, что в нашу эпоху идут небывалые, подспудные религиозные поиски, что ни одной эпохе не нужна больше религия, чем нашей. Ведь в мире идет небывалая переоценка ценностей, забывается человечность, гуманность. Человек не может жить без веры в высшие ценности. Эти ценности ему дает не наука, не искусство, не политика, а религия. Жажда религии у нас фальсифицированно подменяется идеологией. Но идеология не разрешает конечных вопросов: о жизни и смерти, о месте человека в мире. Принимая Бога или отрицая Его, человечество продолжает жить в Боге. На вопрос, верит ли он в загробную жизнь, дядя не совсем уверенно отвечал, что верит, но вопрос этот — самый глубокий и таинственный, его не дано объять тварному человеку, и надо верить, как Тертуллиан — «кредо квиа абсурдум», т. е. нелепое с человеческой точки зрения есть истина с божественной, и в этом и есть доступное земному взору человека Божественное Откровение. Большого нам не дано. Я спорил, я

принимал необходимость Бога для человека, но поверить в загробную жизнь не мог. Здесь дядя ничего не мог мне доказать, да и не стремился, просто, говорил он, надо подойти к Богу с чистой душой и верить, тогда всё придет само собой. Радость — в вере, и всё лучшее, что делает человек, обращено к Богу.

В то время все эти разговоры были для меня головоломной софистикой. Необходимости Бога для себя я не чувствовал. (Я только сейчас подхожу к этому, но еще не подошел.) Эти годы были расцветом моей молодости, и как сожалеешь сейчас, что так скудно и мелко их использовал. Юность — время неиспользованных возможностей.

Снова я тратил время на приобретение знаний, которые мне так и не понадобились. Правда, я не очень обременял себя. На курсе нашлось несколько ребят, их звали «стилягами», мы вместе весело проводили время. Коллеги-техники снова косо посматривали на меня — везде я был «не свой». В это же время я начал понемногу прирабатывать. Деньги были нужны для развлечения, я давно понял, что иначе от жизни не взять ничего. Я попросил знакомого журналиста (с ним познакомился в «Коктейль-холле» и потом не раз его поил) найти мне халтуру, он рекомендовал меня своему приятелю на радио. Я стал пописывать статейки о всякой чепухе. Дело пошло. Вскоре это дало новый поворот моей жизни.

Обстановка менялась на глазах. Происходило духовное раскрепощение людей. В первую очередь оно коснулось молодежи. Наступал 1956 год, XX съезд, доклад Хрущева о культе Сталина и сталинских репрессиях. Пусть всё это было только на словах, но люди перестали бояться думать. Уже в 1955 году можно было откровенно говорить с друзьями обо всем. В 1956 дело зашло дальше, стали, правда, неопределенно и осторожно требовать духовной свободы. Чуть оживилась литература, появился нашумевший роман Дудинцева «Не хлебом единым» о советской высшей бюрократии. Кризис идей стал отчетливым. Дело кончилось Венгрией и отбоем. Кое-какие горячие головы отправились по старому, известному маршруту, кое-кого припугнули, и всё вернулось на проторенную дорожку.

От всего этого я держался в стороне, памятуя недавнее прошлое, да и другое, главное для меня событие выбило меня надолго из колеи — летом 1956 года скончался дядя. Это было для меня самым большим горем, какое я переживал. Я любил его больше всех людей на свете и даже больше матери. Дни, предшествовавшие смерти, последние его часы, сама смерть так потрясли меня,

так глубоко засели в памяти и так всегда больно их касаться, что я не стану вспоминать об этом ничего. Кого это касается, кроме меня? Я пропускаю этот эпизод в моей исповеди, я пишу о себе для объяснения своих поступков и не коснусь памяти самого дорогого мне человека. Скажу только, что с тех пор я стал изредка ходить в костел и каждый год заказывал поминальную мессу.

Теперь я был совершенно один и должен был сам устраивать свое будущее. Ненависть к существующему строю во мне росла, быть его послушным рабом я не хотел и не мог. Механизм идеологического угнетения был мне достаточно ясен. В системе чиновничьего социализма положение дает не богатство и знатность, а занимаемый пост. Пост дает тебе и богатство и знатность. Официальная демагогия и общественная неуверенность в прочности благополучия создают иллюзию равенства. Непонимающие, их с полным правом можно назвать стадом, так и будут влачиться в ничтожестве. Понимающие и ненавидящие могут чего-то достичь, цинизм открывает им дорогу инициативы. В истины марксизма сейчас не верит никто, кроме тех, кому это выгодно, да еще людей неумных и нездоровых. Излишнее верноподданничество тоже не вызывает уважения. Сейчас надо показывать, что ты непоколебим в целом и критичен в частностях. С этими убеждениями мне надо было вступать во взрослую жизнь. Уже тогда передо мной забрезжила далекая цель...

Я понимал, что добиваться своего мне значительно легче, чем другим. Подо мной был прочный материальный фундамент, и морально я был свободен. Я был один, у меня не было семьи, было жилье, были средства. Средства дала продажа дядиной библиотеки Институту архитектуры. В ней были уникальные вещи: альбомы, фолианты, старые книги, даже одна инкунабула Альда Мануцио. Я сделал доброе дело и выполнил волю дяди, который просил не продавать библиотеку в частные руки. Себе я оставил только книги по философии и дядин латинский молитвенник. Таким образом, в случае надобности, я мог отступить и отсидеться.

Продолжать учебу в техническом вузе становилось бессмысленным. К чему? Путного инженера из меня все равно бы не вышло. Получать свой несчастный паек, каждый день ходить на работу и жить без всякого просвета — смешно. Смешно для каждого, который понял основной принцип нашего общества: все эксплуатируют всех, все работают на мировое пространство, кроме тех, кто сюда не относится. Смешно становиться инженером, когда паршивенький журналист зарабатывал больше хорошего

инженера. О партийных, комсомольских и профсоюзных тунеядцах я не говорю. А деньги приобретали всё большее значение в нашем обществе, они давали большую свободу, чем за все прежние сорок лет. В Москве было шестьсот человек, имеющих свыше миллиона, до миллиона их было тысячи полторы. У нас появились паразитарные миллионеры из верхушечной, продавшей-ся с потрохами интеллигенции — «слуг родной партии». Быть честным работником в обществе, построенном на обмане, было глупо. Надо было устраиваться так, чтобы как можно больше брать с «мирового пространства», отдавая ему как можно меньше. Решающим, опять же, являлось не качество твоей работы, а занимаемое место. Следовало, значит, найти подходящее место.

Таким местом для меня могла стать журналистика. Обстановка была благоприятная — расширялись штаты редакций, появлялись новые газеты, журналы. Нельзя было упускать момент. Я с легким сердцем ушел из технического вуза и стал внештатным журналистом. Брал любую работу везде, где возможно. Я не гнался за заработком, основное было, чтобы меня заметили, чтобы рос мой макулатурный багаж. Три года я халтурил. Тем временем мое решение созрело и приняло конкретные формы. Я тщательно вел свою последнюю спасительную игру. Стесняться в средствах я не собирался — цель их оправдывала. Как ни омерзителен был мне философский факультет, я вернулся к нему. Мне оставались только госэкзамены и диплом. Благодаря помощи профессора А., снова вернувшегося на факультет, мне удалось получить разрешение на сдачу и защиту. Наконец, за год, с Божьей помощью, я получил диплом. Путь к спасению для меня был открыт. У меня был диплом, хоть какой-то, но диплом, бумажка, которой верят. Теперь я с полным правом мог подыскивать себе нужное место.

Место обошлось мне сравнительно дешево — тысячи в три. То есть на эти деньги я поил своих друзей — журналистов, они обзванивали своих знакомых, узнавали, и наконец, после ряда неудач, нашлось место на радио в немецкой редакции. Это было то, что мне надо. Я знал язык, имел диплом, имел журналистический опыт и уже сотрудничал на радио. Мне удалось обойти двух конкурентов и стать рядовым литсотрудником. Цель была близка, оставалось два года до ее осуществления, в первый год я опасался ее исполнить. Впрочем, и спешить было некуда, надо было всё продуматьшний раз и подготовить.

На работе я старался ничем не выделяться из окружающих. Я перевоплощался до такой степени, что иногда ловил себя на

том, что раздуваюсь самодовольно, как индюк, и становлюсь похожим на пошляка П. Как и все, я старался не проявлять излишнего рвения, но когда надо, работал вовсю и даже задерживался на работе. Жить такой двойной жизнью было страшно трудно, и я чувствовал, как у меня всё больше и больше расшатываются нервы.

Что-то накалилось во мне, и всё, происходящее в мире, задевало за струны моих нервов. Земной шар превратился в комок сплошного ужаса. За последние годы мир неоднократно вставал перед угрозой войны. Запад отступал, наша мировая политика зашла так далеко, как не мечтал даже Сталин. Борьба за сферы влияния обострилась, и мы в ней побеждали. Но эти победы хуже поражения. Они ведут к неминуемой развязке, если не случится какого-то чуда.

Внутри общества наблюдалась всеобщая усталость. Крах идей уже произошёл, наступило похмелье. Идеи стали занавесом, за которым своим порядком шли неизбежные исторические процессы. Хрущев умело расправился со своими противниками, сел на сталинский трон и валял дурака, наподобие царя Гороха. Постепенно он завоевывал авторитет в народе и шел к своему культу или культику. Всё было как в басне Крылова о змее: «Хоть ты и в новой коже, да сердце у тебя все то же». Хотя, по уверению Хрущева, у нас не было политических заключенных, КГБ потихоньку арестовывало, но до террора дело пока не доходило. Видимо, всё еще впереди.

При Сталине мы жили в духе (пусть извращенном). Главное были идеологические ценности, идеи коммунизма, ура-слово — материальное было ничтожно перед ними. Что до того, что не хватало жилья, одежды, еды, главное были наши прекрасные идеи и ожидаемое будущее, главное, что был Сталин, который всё знал и вел. Историческая заслуга Хрущева в том, что он обесценил идеологические ценности и заменил их хозяйственными, материальными. При нем люди стали жить все-таки лучше, и жить материально, то есть для себя, а не для нереальных возможностей. Это опять же имеет и свою обратную сторону. Поднятие материальных задач означало обесценение духовной жизни. Если при Сталине она была дьявольски извращена, то теперь ее не было вовсе. Духовно людям стало нечем жить. Официальные идеи не могли привлечь никого, а новых не было. Появился некоторый интерес к религии, как обратная сторона усилилась антирелигиозная пропаганда. А больше всего люди захотели жить и пользоваться жизнью, в особенности молодежь. Молодежь стала дру-

гой, может быть, более эгоистичной, но и более смелой. Начался необратимый процесс разложения.

Внутреннее положение, несмотря на ряд внешних улучшений, коснувшихся жизни людей, таило в себе что-то опасное. Денег в стране не было, они шли на гонку вооружений, на подкормку союзников. Государство ликвидировало свои займы, чем публично расписалось в банкротстве. Это восприняли равнодушно, в займы и раньше никто не верил, это была одна из форм налога, радовало уже то, что их пока отменили. Производительность труда не росла. Крепостническая система колхозов сохранялась. Свободы не было, надежд не было, была общественная апатия и всеобщая политическая индифферентность. «Будь, что будет, всё равно всё наскучило давно». Задача для меня была прорвать этот сужающийся дьявольский круг и вырваться из него на волю.

Нет, никогда я не жил хорошо и спокойно (иногда лишь, да и то относительно). Я удивляюсь, как люди в наше время могут улыбаться, смеяться, радоваться. Для этого надо быть слишком большим эгоистом (и мне приходилось быть таким эгоистом). Иногда я удивляюсь, как мои нервы выдерживают, находясь всё время в таком обострении, но они выдерживают, привыкли. Человек ко всему привыкает.

Я кошмарно одинок, у меня не было и нет друзей. Мне не перед кем раскрыть свою душу. В лучшем случае — лишь часть ее. Одни знакомые сменяли других, и со всеми из них у меня было чувство, что они знают меня не таким, каков я на самом деле. С одним я мог говорить о бабах, с другим — о литературе, с третьим — о политике. Быть может, кое с кем — о самом себе. Но ни с кем откровенно, до конца и обо всем вместе. И уж ни с кем о самом своем. У меня нет Друга, который смог бы вобрать в себя всех моих друзей. А он был мне так нужен! Эти же мелкие друзья со временем становились только помехой моему росту. И судьба складывалась всегда так, что они со временем уходили, их место занимали другие люди, новые взаимоотношения. Но наступало время, эти отношения начинали тяготить меня, я ощущал их незримое давление и знал, что мне пора снова уходить и остаться одному, пока наконец не понял, что я Сам-Друг и должен остаться один. То же бывало и с женщинами, но было недавно и нечто иное, но об этом позже... А сейчас об окружающей журналистской братии, о людях, с которыми я вынужден был встречаться каждый день.

Мне хочется излить на них «всю желчь и всю досаду». Как безнадежно, грустно оскудели людишки! Как мало осталось в

них святого! Они понимают это и даже гордятся этим. Когда я поступил на работу, мой непосредственный начальник, молодой парень, неплохой, в общем-то, сказал мне: «Вы знакомы с журналистикой? Знаете, что такое 'вторая древнейшая профессия?' Это, в общем, верно...» Первая древнейшая профессия, как известно, проституция. Мы же, представители второй, были дешевыми подзаборными умственными блядьми. Люди, не знающие ничего, не читающие ничего, или невинные младенцы, или прожженные циники (последних большинство), рвачи и стяжатели. Я среди них был единственным человеком, который знал, кто такой Чима ди Конельяно, но, конечно, скрывал это всячески. Главное было слыть «хорошим парнем», не отказываться выпить в компании, вступать в разговоры о женщинах. В сущности, эта внешне трезвая реальная жизнь была таким же бредом, как моя фантастическая жизнь перед мартом 1953-го года. Например, входит в комнату какой-нибудь тип и радостно объявляет, что «Динамо» «припухло», и все оживленно начинают обсуждать игру, набранные очки, место в первенстве и пр. А женщины, когда собирались вместе, начинали судачить о тряпках, мусолили какую-нибудь нейлоновую комбинацию, восхищались и т. п. Это было какое-то убогое кладбищенство. Люди вокруг, в большинстве, были молодые, но насколько все они были мертвы!

Вот один из них, тридцатилетний толстый лысеющий женатый бабник, не дурак выпить (преимущественно на чужой счет), обозреватель Л. Жадно хватается за любую грязную работу, от которой другие, похуже его, сторонятся. Зато это дает ему возможность раз в год получить командировку за границу. Там для него всё. Там он любит всё (вплоть до писуаров). Здесь он не любит ничего, и в особенности тех людей, которых он обманывает — именно за то, что ему приходится их обманывать. Вот Ф., этакий жучок, невзрачный тип с кашей во рту, мой начальник, молодой парень, много достигший, живет с самой интересной нашей сотрудницей, что порождает много толков и удивлений у всех. Вот С., самый лучший парень и добрейшая душа, собутыльник одного маститого писателя-мерзавца, бабник, по слабости характера женат, с женой не живет... Но хватит, имя им легион, а желания писать о нечисти нет, пора отделаться от них даже в памяти. Едва я вспомнил о них, у меня снова заболела голова, как болела последнее время на работе, и снова запахло бредом... Довольно, пусть они остаются такими, как есть, достаточно с меня двух каторжных лет, прожитых среди ничтожных людей, «без божества, без вдохновенья, без чувств, без мыслей, без любви».

Я очень устал писать все это, но осталось недолго. Осталось сказать о любви (без этого, оказывается, нельзя) и подписать свое обвинительное заключение.

О женщинах — или хорошо или ничего. Я скажу хорошо. Я чувствен и люблю женщин. Я несколько раз влюблялся серьезно, иногда встречал ответное чувство, но всегда это вело к недолговременной любовной связи, пока, насытившись друг другом, мы не расставались, иногда вскоре, иногда дольше, и никогда у меня не было стремления привязаться к одной женщине и осесть. Здесь было то же самое, что и с друзьями. Я предъявлял жизни слишком непомерные требования, идеал оставался неосуществлен. Только совсем недавно, этой весной, мне померещилось что-то иное...

Я познакомился с ней на художественной выставке, всё было просто и хорошо. Она была совсем свеженькой интеллигентной девчушкой, что-то понимала в живописи, мы разговорились. Я был с приятелем, она — с подругой. Мы походили по выставке, болтали и смеялись. Они стали уходить, мы тоже. Она все время искоса поглядывала на меня еще до того, как мы к ним подошли, а сейчас, когда я подал ей пальто, глаза ее так радостно вспыхнули. Мы пошли в кино, не попали, подруга захотела домой, мой приятель ушел с нею, а мы пошли в кафе, ели мороженое, пили шампанское, потом я провожал ее по легкому морозцу, придерживая за плечи. В подъезде я поцеловал ее, она сразу сникла, застеснялась, потом позволила еще.

Я шел домой счастливо возбужденный, ощущая на губах теплоту ее свежих, еще детских нецелованных губ, легкий и мягкий ветерок дул в лицо, он пахнул на меня ненаступившей весной, в феврале был апрель. Я шел и думал: «Чорт тебя побери, Виктор Вельский, придумавший самого себя, что стоишь ты в сравнении со свежестью этой девчушки, с первым дыханием залетного весеннего ветерка, как еще ты мало знаешь мир и ценишь его!» Я был в состоянии глупого умиления. Случившаяся неновая простенькая история на этот раз обрела новую значимость, ведь я был уже взрослый мужчина, а она — девчонка, я был старше ее на десять лет и для меня сближение с ней было чем-то иным, чем просто интрижкой. Оно несло опасность для меня, ведь моя молодость прошла, и тем ценнее была бы для меня любовь юного, доброго, доверчивого существа. Да, я был стариком перед ней. С десяти лет я уже знал то, чего не дай Бог ей узнать за всю жизнь.

Мне было радостно встречаться с ней. А она со всей своей

детской чистотой влюбилась в меня, создав себе идеал необыкновенного человека. И я, наверное, начинал любить ее, это не так трудно одинокому сердцу... Но что я мог дать ей? Сделать ее своей любовницей? В ней угадывалась чувственность, любопытство ее было разбужено. Но это было бы надругательством над ее девичьим томлением. Да и я бы к ней тогда окончательно привязался. Она должна была стать хорошей женой, но не моей. Когда я заметил, что и сам начинаю увлекаться и терять голову, я остановился и одумался. Продолжение было ненужным и губительным для обоих. Я жалел ее как ребенка. Я должен был также покарать себя за малодушие и отступничество от своей цели. Теперь уже сознательно мне не был нужен никто.

А ведь были мгновения, когда мне хотелось забыть про «то», жить в одной любви. Она была способна на любовь и достойна ее. Ну, а потом? Любовь пройдет, перейдет в привычку, привязанность, и снова тот же порядок, о существовании которого ты забывал в любовном опьянении, начнет давить тебя. Выход был один — не уклоняться от своей цели и ради нее жертвовать всем.

Да и независимо от цели так было лучше — пожертвовать. Обыденное человеческое счастье было не по мне. К тому же цель, она была близка. Должно было превозмочь. Как раз она попросила меня, еще ребячески играя, написать ей письмо до востребования, ей хотелось получить от меня письмо. Это была наша шутивая игра, и мы приурочили ее к первому апреля. Я написал ей только четыре пошлых слова «Не верь первому апреля» и не пришел на свидание. Для меня всё было кончено. Это было тяжелее, чем я думал. Я получил, тоже «до востребования» (игра была обоюдной), ее письмо, и оно было проникнуто таким неподдельным чувством, что тронуло меня до слез, и я как безумный шептал «милая моя девочка!», и сердце разрывалось...

Она понимала меня больше, чем я думал, своим искренним сердечком она почуяла, что я что-то скрываю от нее, и угадывала нашу разлуку и умоляла меня сказать, что всё не так, что она просто глупенькая девочка (как я ее однажды ласково называл), что она так хочет меня увидеть. Мне так хотелось броситься к ней, просить прощения, раскаться в своей злой шутке, рассказать ей о себе всё, всё и быть достойным ее любви. Но я преодолел себя, голос разума у меня всегда был сильнее чувств, и он возобладал. Но до сих пор меня не оставляет сознание того, что я совершил новое предательство... Будь проклято наше несчастное время! Будь я проклят!

Прощай, моя молодость, прощай, моя милая девочка! Нет,

видно, не Офелии спасти обращенного Гамлета. «Я один, всё тонет в фарисействе...»

Пожалуй, хватит о любви, пожалуй, лучше сказать: я не знаю, что это такое. Да и кто знает, кто любит сейчас, кто жертвует ради этого всем? Давно прошло время великих влюбленных. Уже нет мужчин, воинов и поэтов, есть благоразумное эгоистичное существо. Женщина пала еще ниже и обесценилась так, как никогда, утратила свое достоинство и гордость. Нет уже аристократии, нет уже избранных. Людей стало слишком много. В этом диком калейдоскопическом муравейнике утратилась ценность отдельной человеческой личности и значимость ее переживаний. Всё стало пошло, вульгарно, доступно. О чем еще говорить? Всё ясно. И всё же, мне кажется, она была особенная... Но — хватит...

Сейчас ночь, я сижу за дядиным столом перед Распятием и пишу это, пишу третий день подряд. Цель моя близка. Еще через три дня я как турист попаду в ГДР, буду в восточном Берлине и там перейду черту. Вот моя цель, вот чего я добивался все эти годы. План возник четыре года назад, за это время он был многократно продуман и теперь стал близкой реальностью. Сердце пугливо вздрагивает. Вдруг не удастся? Должно. До сих пор мне всё удавалось, я сумел выдержать два последних каторжных года. И все-таки на душе беспокойно. Я представляю, как всё это будет трудно.

Я затеял писать свою апологию с целью обосновать причины, приведшие меня к этому решению. Кажется, пока это мне мало удалось. Требуется выразиться яснее.

Жить в своей стране я не могу. Существующий порядок противоречит моим убеждениям, моему достоинству человека. Слишком много надругательств я вынес. В юности, самой святой поре человеческой жизни, мне оплевали душу, меня сделали предателем, меня сделали циником. Как и всякий нормальный человек, я родился с сердцем, открытым добру. Они же, как в сказке, вложили мне льдышку в сердце, и оно застыло. Я мог любить людей, а я возненавидел их. Я хотел работать в своем призвании, хотел мыслить и писать, мне же приходилось скрывать свои мысли и халтурить. Мне всегда был чужд марксизм, меня всегда интересовали более глубокие, вечные вопросы духа — здесь у меня бывали прозрения, но я не мог поведать их, я должен был пресмыкаться в ничтожестве. Даже по складу своего ума я не гожусь для нашего (нет, не моего!) общества. Я не могу жить в обществе диктатуры, в обществе несвободном, где попораны все права мыслящего человека. Я русский европеец, и мое место — в свободном

мире. Там, где человеку не надо скрывать своих мыслей и поступков, где нет постоянного чувства страха и унижения. Родина человеку — весь мир, и счастье там, где счастливая жизнь.

Скоро, теперь скоро... Я сяду в поезд Москва-Берлин и... «прощай, немытая Россия!» Ничто не изменило тебя, ты осталась всё той же мачехой своим сынам, ты всё та же, зловещая, бюрократическая, жестокая. Я проклинаю тебя! Проклинаю за все унижения, которые вынес! Проклинаю за все невинно загубленные жизни! Проклинаю твоих тиранов и слуг!

В первый раз я, не скрываясь, бросаю тебе в лицо проклятие, свою злость и ярость. Я проклинаю советскую власть, оскверняющую Россию. Так я проклял ее! Она построена на обмане и самообмане, она в существе своем враждебна лучшим человеческим порывам. Я, родившийся при этом строе и живший при нем, поняв его и испытав на себе, стал его врагом. Говорю честно — я не хотел бы им быть, и никто не воспитывал во мне это чувство, его воспитала сама система.

Я знаю, что несправедливая система угнетения должна исчезнуть. Ужас весь в том, что она погребет под своими обломками весь мир. Мы все являемся свидетелями крушения гигантского социального эксперимента. Люди захотели жить лучше, а кончили полицейским государством. Идеи величайшей свободы обернулись величайшим угнетением. Идеи высочайшей справедливости привели к морям крови. Людям стоит задуматься впредь над тем, как все крайние, нетерпимые, но прекраснословные идеи приводят к этому. Французская революция изжила себя террором. То же случилось и с нашей.

История безразлична к отдельному человеку и его страданиям. Ждать развязки я больше не могу. Мне осталось одно — бежать. Жить с такими убеждениями здесь я не могу. Это и нечестно.

О, как я буду рад, что мне не придется больше читать ваших газет, слушать ваше лживое радио, лживые речи и восхваления, самому лгать и притворяться. Я избавляюсь от всей этой апокалипсической жути, сделав только один шаг. И я сделаю его.

Пусть найдут мою рукопись — будет поздно. Я надеюсь, что найдут и прочтут, где следует. Я плюю вам в рожу, изверги! Читайте и знайте, как наше, нет — ваше общество воспитывает своих врагов. И таких врагов, я знаю, немало, молчаливых, пассивных. Это сделали вы, ваши фразы, ваши культы, ваши терроры и тюрьмы. Задумайтесь, еще раз советую, задумайтесь над тем, как идеи величайшей справедливости обернулись величайшим на-

силием над людьми. Рано или поздно мертворожденные идеи исчезнут или переродятся. Я не буду участвовать в борьбе с ними. Я слишком устал и измучен. Я хочу только одного: забыть всё и жить в другом обществе, заново родившись. Это общество я избрал. Я ухожу и не вернусь.

Вот и вся моя апологетика. Надо сказать еще многое, но сил нет. Сейчас без пяти двенадцать. Полночь. Далеко до утра. Глухая ночь над моей родиной. Когда придет утро?

Всё. Прощай, мачеха-родина!

Часы пробили полночь. Настает мой новый день.

Виктор Вельский
6 августа 1960 г.

Я вернулся.

Как смешно и стыдно мне теперь читать всё написанное в этой жалкой тетрадке! Какая буря в стакане воды! Как рисуется и кривляется человек даже наедине с самим собой! И как он слаб и жалок!

Да, я вернулся.

Я не мог, я трусил, мне не хватило той великой убежденности, которая дает право перешагнуть рубеж. Единственное мое утешение — такой убежденности нет ни в ком. Нет ее и на Западе. У Запада нет идеи, кроме понятой еще Герценом идеи мещанского благополучия. Но эта-то идея мне и не нужна. Не за лакомым куском я туда шел, а за спасением. За идеалом шел. Но где его было взять, если его не было во мне. Было одно озлобленное отрицание, но не было идеала, ради которого стоит жить и умереть.

Я мог сделать всё и не сделал ничего. Я мог стать «гражданином свободного мира» и не стал. Нет для нас «свободного мира», есть чужой мир, мир чужих, более благополучных людей, которые тоже по-своему несвободны.

Да, я мог сделать этот шаг, я был в западном Берлине. Несколько часов я прожил в другом мире, ходил среди других, чужих людей. В том-то и всё, что чужих.

Вначале я думал подойти к первому полисмену и попросить отвести меня в участок. Сердце бешено стучало. Вот сейчас всё решится... Но решение-то мое было только в воображении, я не

мог перейти к реальности. Я стал медлить. Я всё продумал «до» и ничего не представлял «после». Гражданином «свободного мира» не станешь, очутившись в «свободном мире»! Пусть я попаду в участок, меня начнут допрашивать, проверять, потом отправят, видимо, в лагерь для перемещенных лиц, а потом как журналиста могут использовать в какой-либо радиоредакции. Именно использовать, сам я здесь уже ничего не значу. Я попадаю в механизм большой политической игры безликим винтиком, таким же, каким я был в нашем государстве. Я здесь ненужный и чужой, и нет для меня иной работы, кроме грязной, обратной той, что я делал. Я не могу стать честным эмигрантом, я должен стать платным предателем. Снова предателем?!

Нет, решиться так скоро переступить черту я не мог. Я должен был еще походить, подумать. Почему-то никто не обращал на меня внимания, никому не было до меня дела. А мне было дело до всего — я смотрел в лица людей, в витрины магазинов, в окна домов — всё мне надо было понять.

Я осматривал дворцы, заходил в парки, ходил вдоль Шпрее, а время неумолимо шло, а я никак не мог решиться. Новое предательство, новое надругательство над собой? Этого я не хотел, хотя допускал мысль, что сто́ит претерпеть, если в последний раз. Но в последний ли? Не начало ли это бесконечной цепи? И все чаще мелькала мысль, что я здесь чужой и тоже не стану «свой». Жизнь вокруг была внешне спокойная, размеренная, чинная, но я чувствовал в ней что-то не то. Это чувство «не того» росло и росло, а мой спасительный разум молчал, и это чувство переходило в протест против моего решения.

И, не знаю, отчего, всё настойчивее вставал образ Родины, нет, не мачехи, а кроткой, доброй, заботливой, но униженной матери. Неужели во мне так сильно было это чувство? Я и не предполагал, что оно у меня есть, считал себя «русским европейцем», «гражданином мира». Выходит, правда, не может русский человек жить без родины. А я русский человек! Не европеец, не гражданин мира, а русский! И в своем недовольстве — русский, и в жажде идеала и справедливости — русский! Несчастный вечный русский скиталец!

Это сознание своей нерасторжимой принадлежности к родине вспыхнуло как откровение. Нет, не за то молились мои предки, честные русские попы, чтобы правнук их искал правду в чужих землях и верах! Если нет ее у нас, то уже нигде не найти!

Видно, помогала мне их молитва. От этого умиленного, внезапно обретенного чувства у меня слезы стояли в глазах и всё мутилось. Я вдруг на какое-то время обрел что-то чистое и идеально-святое, чего уступить уже было нельзя. Я знал, что, не выполнив своего, я обрекаю себя на нравственную смерть, но решиться перейти черту не мог.

Я вернулся в восточный сектор. Пришел в гостиницу, свалился в постель, разбитый до последней степени. Ребята еще не возвращались с экскурсии на завод. Никто, наверное, не знал о моем походе. Ребята приехали поздно, вошли гурьбой в номер, что-то рассказывали — мне было всё равно, хоть режь. Они забеспокоились — вид у меня, наверное, был бредовый. Подумали — простудился, оттого и на экскурсию не поехал. Один даже принес припасенную для другого случая бутылку «Столичной», и водка, как горькая влага родной земли, обожгла мне рот. Я почти один выпил всю бутылку и не захмелел, разом уснул, провалился в черную бездонную пропасть...

На этом пора поставить точку или многоточие. Меня измучил этот самоанализ, это самоистязание. Я больше не могу перечитывать эти страницы бахвальства и бреда. С меня всего хватит. Я сломлен. Я устал, устал, устал. Итог мой печален и жалок. Я не стою сам себя. Я не могу жить в этом сумасшедшем мире. Осталось только покончить с собой. Но и этого я не сделаю — я трус, слишком силен во мне инстинкт жизни. Работать и жить, как все вокруг, я больше не могу, у меня что-то тяжелое в голове. Я пишу всё это через великую усталость, выбиваясь из последних сил — надо кончить эту главу моей жизни. Кончилась апология, начинается патология. Я знаю, что меня ждет. Меня ждет ужас. Меня давно караулит безумие. Мне нет сил и возможности жить дальше в реальности. Я кончился. Моя идея кончилась, а с ней и я, как сгусток гнева. Я не обрел того и не преступил. Жить чувством родины я не смогу, оно вспыхнуло во мне лишь однажды. Чем мне жить? Ни отрицания, ни утверждения нет во мне, одна огромная давящая усталость. Что спасет меня теперь? Я погиб. Мне ничего не надо. Мне себя не надо. Я чем-то обманут. Мы все обмануты чем-то или кем-то. Сил нет больше писать. Надвигается ужас одиночества, тюрьма души. Они добились меня. Я задыхаюсь, не хватает воздуха, света, людей, улыбок... Боже, если Ты есть, помоги мне!

Я кончился! кончился! кончился!..

ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕТ ВИКТОРА ВЕЛЬСКОГО

Прошу рассматривать этот документ не только как исповедь, но и как завещание.

Жизнь моя окончена и обесмысленна. Я еще могу прожить долго, но это уже будет не жизнь. Меня поджидает страшное, я отравлен ужасом небытия. Я глубоко болен и не отвечаю за дальнейшее. Сейчас, находясь в трезвом уме и здоровой памяти, я делаю это свое заявление.

В жизни меня ничто не влечет. Мне нечего добиваться, мне незачем устраивать свою жизнь. Для меня все кончено. Ничего земного мне не надо. Я обрек себя. Обрек себя одного за всех. Знаю, что мне не стоит этого делать, и боюсь — то, что я собираюсь сделать с собой, превосходит все муки и ужасы. Но я знаю — раз человек пришел в мир, то для чего-то. Я больше ничего не хочу кроме того, что замыслил. Это будет мое распятие и мое вознесение. Я делаю это совершенно добровольно, для себя и для всех. Я провожу гигантский безответственный опыт, который принесет мне гибель. Я выпил страшный яд Ничто и жду этой гибели. Как она придет, я с ужасом буду верить всем, кто после меня захочет узнать. То, что я делаю, в своем роде самоубийство, и прошу в нем никого не винить — я добровольно пожертвовал собой. Единственно, о чем прошу — того, кто найдет мои записи, сохранить их в назидание человечеству. Уничтожать их нельзя — погибнет великий опыт, пропадет труд целой жизни (впрочем, что значит еще одна загубленная жизнь?). И всё же я прошу тебя, кто прочтет эти строки, заклинаю сберечь их. Это единственное, что я впервые прошу от людей. Больше мне ничего не надо.

Считаю необходимым рассказать обстоятельства своей жизни. последних лет. Может быть, это что-то объяснит.

Я оказался малодушным рабом, я не смог преступить черту, я не сын свободы. После этого жизнь с ее радующими мелочами потеряла для меня всякий смысл. Работать стало незачем. К чему, когда всё, что я делал, делал для цели? Устраивать жизнь? Быть? семью? Какая польза? Мне ничего не стало нужно. Отныне я выключился из всего и начал жить ничем.

Отныне я мог наблюдать и думать, сколько захочу. Нас осталось двое: я и мир. Я ощутил свою причастность незримой Мировой Душе. Всё повседневное я отбросил. Кое-как ел, кое-как одевался, существовал на гроши, оставшиеся от продажи дядиного имущества. Газет не читал, новостями не интересовался — всё

это слишком мелко. Из книг читал только Библию. Я стал ходить во все церкви и моленные дома, которые еще могли существовать.

Однажды я зашел в костёл. Народу было мало, служба шла к концу. Я сел на скамью в заднем ряду и задумался. Мне некуда было спешить, а здесь было так тихо, спокойно, что никуда не хотелось уходить. Задумавшись, я забыл обо всем и просидел так довольно долго. Из оцепения меня вывел чей-то устремленный взгляд. Я оглянулся и увидел патера, смотрящего на меня с ласковой улыбкой. Это был ксёндз, я помнил его по похоронам дяди, и он, как выяснилось, запомнил меня. «Вот вы и пришли к нам», — ласково сказал он. Я ответил, что замечтался и прошу извинения. «Нет, нет, что вы, — с еще большей ласковостью перебил он. — Очень хорошо, что тишина нашего храма навела вас на размышления. Я часто вспоминаю вашего дядю, это был настоящий христианин»... Он был чрезмерно ласков и пригласил меня в свою комнатку, сбоку от алтаря. Там мы поговорили с час, неспеша и елейно. Он начал с того, что позволил себе задать вопрос: ведь не праздное любопытство привело вас в наш храм? Я сказал ему что-то больше, чем следовало, он с иезуитским проворством схватился за это и начал говорить о путях к Богу. Речи его звучали добротой и убедительностью. «Вы беспокойны, душа ваша в смятении, я бы хотел помочь вам как человек, но у нас всех есть истинный Утешитель, и только Он может помочь вашей скроби». Напоследок он подарил мне молитвенник. «О, я не хочу вас уверить, что одна вера лучше другой, вы образованный человек, но помните, что апостольская церковь равно принимает всех страждущих. Я помолюсь за вас».

Иезуит ловко поймал меня. Я стал ходить в костёл, не часто, но регулярно, и даже привык к нему. Патер Р. стал как бы моим наставником. Несколько раз мы с ним беседовали, он не разрешал моих сомнений, но всегда я уходил от него умиротворенным. В этом власть религии над людьми — она не разрешает духовных сомнений, но утоляет тоску. Сейчас я удивляюсь, как он смог получить такую власть над моей душой — я всегда был силен своей независимостью. Значит, есть ловцы душ посильнее меня.

В эти полгода я начал понемногу возвращаться к жизни, пожалел о проданной библиотеке, несколько раз встречался с знакомыми и с женщинами. А может быть, это было влияние весны и возраста? Как бы там ни было: *Nomo est* ... и т. д. Станный образ мелькнул мне тогда, это было на Пасху. Пасха у католиков красива, особенно шествие с детьми, хорошее чувство было во мне.

Народу в костёле было набито битком, пришли и иностранцы. Случилось так, что в толпе я оказался рядом с молодой женщиной-иностранкой. Я взглянул на нее, и знакомым трепетом забилося сердце. Она была не просто красива, она была удивительно похожа на ту... но была еще более женственной, одухотворенной, а еще больше похожа на портрет Возрождения с ниточкой по лбу. Это был мой тип женщины: брюнетка, с узким милым лицом, влажно блестящими глазами — в ней одновременно страсть и чистота. Только такие женщины мне по-настоящему и нравились, и я им нравился, по закону взаимодействия. Случайно мы переглянулись и вместе улыбнулись. Господи! Я снова был мальчишкой, снова сходил с ума, голова была во хмелю. Я воображал, что скажу ей, когда всё кончится, что может ответить она, как мне поступать дальше. И вот мгновение расширилось, и я пережил разом, как во сне, все свои небывшие встречи с ней. Я встречался с ней, ходил по улицам, читал стихи, она ничего не понимала и понимала всё, глаза ее возбужденно блестели. Мы проходили мимо церквей, я рассказывал ей о старине, а она говорила: «Перекрестись, я читала, что русские крестятся, проходя мимо церкви». Я крестился, прохожие удивлялись, она странно смеялась...

В то мгновение я видел только одну ее и больше никого. Но что-то во мне говорило, что эта вспышка чувств напрасна, и ничего не выйдет и не может выйти. И всё же мне было так радостно и благодатно как никогда. Я был готов на всё, лишь бы сказать ей хоть слово. Когда обносили поднос для денег, я не глядя кинул какую-то бумажку, то ли десять, то ли двадцать пять новых рублей — всё, что у меня было, во всяком случае, служка изумленно вытаращил глаза, низко поклонился мне и спешно покрыл бумажку ладонью. И когда весь храм пел «Аллилуйя!», всё пело во мне, и я готов был ликующе петь: «Аллилуйя! Аллилуйя!»

Но всё кончилось, ксёндз вышел на кафедру для проповеди, народ повалил к выходу. В церкви толкаться неприлично, и получилось так, что меня оттеснили от нее. Я вышел с некоторым опозданием. И все мои надежды развеялись. Она уже была в компании иностранцев, и они шли к машинам. Как всё кончилось пошло! «Она уехала на машине, а я пошел пешком». Смешно... Глупо...

Это было новое жизненное унижение. В своих мечтах я взлетел в небо и в своем малодушии пал в грязь. Да, это была высшая женщина, ради которой можно пойти на всё. Я оказался слаб, не сумел. А мечты куда как далеко меня забросили! В мечтах я уже готов был жениться на иностранке, уехать, переродиться... — ка-

кое детство! Я отрезвел, я разом постарел. Хватит иллюзий, я один в страшном мире перед лицом вечности, и этот факт должен стать единственной реальностью моего бытия. (И все-таки я понял, что вечно-женственное существует, и, может быть, оно могло бы спасти меня, отсюда я понял идею Мадонны.) Я стал реже ходить в костёл, а вскоре перестал совсем.

Я пришел к религии, и я порвал с ней. Я уходил от жизни, а религия звала меня к жизни (хотя бы к жизни в Боге). Я ушел от нее, но ушел не сразу. Я разочаровался в католицизме с его театральностью, открытым алтарем и лстивым патером. Православие представилось мне высшей религией — кроткой, духовной, полной тайн и отрешения от земного. Я подошел к православию, религии, родной мне по крови. Я ходил в наши церкви, ездил в Лавру, беседовал кое с кем. Казалось, вот она, точка опоры. Наша православная служба прекрасна. Прекрасен и католический орган, но мне ближе духовный хор. Что-то забытое, но крепко засевшее в крови от предков, будили и сейчас будят во мне церковные песнопения. Пришла в голову нелепая мысль — уйти в монахи, но она была столь же нелепа, как и женитьба на иностранке. Я знал, что и в монастыре не уйдешь от жизни, от людей, от всего показного, мелочного (даже если бы уйти в монастырь было так просто). И там та же советская несвобода. Уйти от жизни можно только в самого себя. Это делали индусы, но йоги, которые идут к Богу с фокусами, были мне смешны. Одно время ближе всех мне казался буддизм с его обожествлением Ничто и Нирваной, но это хорошо для восточного человека с его фаталистическим взглядом на жизнь. Так я прошел и перебрал все веры и понял, что ни одна религия из существующих не может удовлетворить человека XX века. Везде он должен обманывать свой разум, жить иллюзиями. Но и жить лишь для земной жизни он не может. Этого ничтожно мало. Ему нужен Бог, а он не может верить в Бога!

Допустив необходимость Бога, я отверг Его.

Это был великий момент, когда я отверг Бога!

Я отверг то, к чему стремился всю жизнь, я отверг саму жизнь потому, что она кончается смертью и, следовательно, представляет собой сплошной самообман.

Я проклял Бога, как Бога смерти, и бросил Ему вызов. Я сказал: либо человечество достигнет бессмертия, либо оно не имеет права на существование. Я встал перед смутной догадкой, что человечество есть достижение Бога и отрицание Его, т. е., достигнув Абсолюта, оно тем самым отрицает Его.

В своем отрицании Бога я дошел до конца. Я глумился над

Ним больше, чем любой атеист. Атеизм — слишком глупо и слишком земно. Атеисты, отвергая Бога, верят в идолов, называемых прогресс, коммунизм и прочее. Я не верю ни во что. Я — анти-атеист. Иначе говоря, я верю в Ничто, и ничего больше.

Я думаю, что это самая современная вера. Таково время «ни да, ни нет», время от лукавого. Как-то я спросил одного умного ученого человека, не стадного человека, о его вере. «Это слишком сложно, — сказал он. — Я не могу утверждать, что Бог есть, но я всегда верил в божественное начало в человеке». — «А в ад, в рай, в загробную жизнь?» — «Я не могу сказать, что она есть, но я и не могу сказать, что ее нет...» и т. д. А ведь это думающий человек, не так, как большинство, которое живет, само не ведая, зачем: то ли гадить друг другу, то ли делать друг друга счастливей. Живет и не мучается ничем, выходящим за пределы жизни. Как это просто и безгрешно! Они еще не доросли до Бога. Мой трагизм в том, что я перерос его (т. е. не Бога, а понимание Бога, религию).

Отвергнув Бога, я остался с Ничем, остался наедине с Ничто. Жить стало нечем. Все мелочно, ничтожно, пусто. Чтó мне политика, общественность, науки, книги? Всё это, занимающее миллионы людей, мне не нужно. Чем должен жить человек, назавтра приговоренный к смерти? А мы все, каждый из нас, приговорены к смерти. Миллиарды людей умерли, миллиарды умрут, а мы тешим себя надеждой, что нас-то пронесет мимо! Миллиарды умерли — со смертью каждого исчез целый мир, единственный, неповторимый, никому нет до этого дела, я один вместили ужас их смерти! Все обречены и всем до этого нет дела! Никто не хочет с этим считаться в удивительном людском легкомыслии! Это потому, что человек живет среди людей, в человечестве, и множественность его дает иллюзию бесконечной жизни. Надо доказать им, что так жить нельзя. Нужна искупительная жертва, кто-то должен вобрать в себя страх смерти, упразднить его и дать новую надежду на воскресение. Кто-то должен заново распять себя за всех людей. Поскольку нет других, это должен сделать я.

Здесь я дал человеческое, реалистическое объяснение своего решения, оно имеет и другое, метафизическое объяснение. Высшей метафизике души я посвящаю то, что написал, — свое Откровение, свой Апокалипсис. Это та черная бездна, в которую я спускаюсь, откуда нет возврата и напоминанием о которой останется моя запись, если уцелеет.

Моя предыдущая Апология явилась свидетельством разрыва с миром внешним — неприемлемым и несчастным. Это была ис-

поведь сына века — странного сына и странного века. Это не портрет и не тип, я не то, что называют «типическим представителем», просто так у меня сложилась жизнь. С раннего детства я был обречен на одиночество, матери у меня, в настоящем смысле этого слова, не было, материнской любви, семейных привязанностей я не знал. И у меня ни к чему не было любви и привязанностей. Но я жаждал, алкал, как в пустыне, любви и дружбы. Меня обманывали. Потом я обманывал. В самом лучшем человеческом возрасте я столкнулся с насилием и жестокостью. Я жаждал свободы и стремился к ней, но и здесь был обманут. Это был мой жизненный крах. За ним неизбежно наступил крах духовный.

Я жаждал обрести Бога, но и здесь был обманут. Религия тоже толкала меня назад, в людское, а я не хотел, я жаждал высшего. Высшего не оказалось, Бога не было. Современному материальному человеку сказать, что Бога нет, очень просто, но он-то не понимает, что у каждого есть свой личный «божок». Для одного — рай на небе, для другого — рай на земле, для третьего — его дело, занятие, для четвертого — семья, деньги и т. д. У каждого свой идол, обожествленный чурбан, которому он поклоняется. У меня ничего нет. Ни в жизни, ни вне ее ничто не имеет для меня цены, даже Ничто. Всё становится бесцельно, всё обречено. Эту истину понимали многие, но никто не жил ею. Я прошел через нее. Я изолировал себя от мира, сейчас мы две отдельные субстанции: мир и человек. Человек случаен, мир постоянен, человек уйдет, мир останется. Человек живет ради человеческого, говорят, и Бог существует тоже для него. Нет, говорю я, человек живет ради Ничто, которое всё уничтожит. Вот весь ужас для того, кто это ощутил. Как после этого жить?

Я — неудачник. Мне не повезло, не повезло тем, что родился.

О, как мне хотелось бы не знать этого чувства! Я мог бы написать что-нибудь другое — о красоте мира, о любви, о клейких листочках, если бы всё не было так мелко и конечно.

Но зарок дан. Я создам свое Евангелие и свой Апокалипсис, без фантастики, без угроз, без Бога. В нем будут моя жизнь и смерть, больше у меня ничего нет. Я не пророк и не создаю новую религию. Я всего лишь человек научного двадцатого века и как ученый иду туда, куда еще не заглядывала наука. Я сам стану подопытным кроликом, агнцем, называйте, как хотите, а лучше сказать — Сыном Человеческим. Человек становится Человеком лишь тогда, когда он думает о своем бытии и идет «за други своя». Только для этого он существует, а не для себя. Для себя живет тварь, для неразрешимого и дерзкого — Человек! Я

жажду озарения. Я чувствую, мне должно открыться что-то невиданное и страшное. Это и будет мое Откровение, Апокалипсис Виктора Вельского.

Патология Виктора Вельского

МОЕ ЕВАНГЕЛИЕ И МОЙ АПОКАЛИПСИС ОТ ВЕЛЬСКОГО СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

Это благая весть Сына Человеческого, его Евангелие с его родословием, благовещением, рождеством, праздниками и страстями вместе с изумительным богословием, содержащим единственную и последнюю истину.

1. Это есть великое откровение человека, по имени Виктор Вельский, о жизни и смерти.

2. Я начинаю с рождения, потому что так человек входит в мир. Если смерть имеет продолжение, по христианскому учению, в жизни вечной для души, то рождение не имеет никакого прачала. В этом его тайна, еще более удивительная, чем смерть.

3. Ни один человек не может сказать, какими путями, в силу каких таинственных причин он получил жизнь. Рождение случайно, а смерть закономерна. В этом великая тайна жизни. Для нее нет разгадки.

4. Ты мог не явиться и ничего не знать. Жизнь представляется странным отрезком в беспредельности времен. Ни до, ни после ничего не существует. Ты явился в силу случайного столкновения двух пылинок в вечности. Носила твою частицу только мать, а отец дал ей качества? Или встретить твоя мать другого, тебя не было бы? Всё это странно для ума.

5. Но раз человек приходит в мир, то для чего-то, о чем сам еще не знает.

6. И он может этого никогда не узнать.

7. Существование отдельного человека представляется бессмысленным и ничтожным.

8. Ты — величина конечная, подлежащая уничтожению. С этим нельзя смириться.

9. В мире одновременно с тобой живут миллиарды людей, и они дают тебя своей бесчисленностью, но в их среде ты забываешь о неотвратимом конце.

10. Ты — бесконечно малая величина в человечестве, и ты — целый мир, который живет и проходит вместе с тобой.

11. Добиваться нечего, всё конечно, преходяще перед безликостью поглощающей Вечности.

12. Всё подлежит Смерти.

Я начинаю с этих очевидных истин, чтобы обосновать свое право на Евангелие, право каждого человека на Благоую Весть как Сына Человеческого.

Мне хочется написать свое Евангелие (пусть кошунственное, пусть пятое, пусть «черное» — за ним вопль человеческий, жизнь и гибель моя!). Я пройду путем человека, названного Спасителем, со своей спасительной вестью, без чудес, без апостолов, без Бога. Я пройду через все страсти, на которые обрекаю себя сам, как и Тот. Я оставляю свою благоую весть, свою изумительную науку, выше которой ничего не может быть.

Вот мое Евангелие:

1. В мире родился человек по имени Виктор Вельский.
2. Как и у всех людей, зачатие его было непорочным.
3. Он никого не учил, и у него не было учеников.
4. Он был один.
5. Он думал о людях и отдал себя на заклятие за них.
6. Он шел крестным путем жизни.
7. Он молил о чаше, он не хотел умирать.
8. Но он умер, так ничего и не поняв.

Вот ужас, который мне предстоит!

БЛАГОВЕЩЕНИЕ И РОЖДЕСТВО

Родословие Виктора Вельского, Сына Человеческого.

Нет, я не буду проводить родословие по коленам Давидовым. Евангельским авторам это понадобилось для того, чтобы доказать, что Иисус из царского рода. Мне ничего не надо доказывать, мои колена никому не интересны (как никому не интересны колена великого назарейца). В конце концов все колена приводят к Адаму и Богу (см. родословие Иисуса от Луки).

Сектанты понимали, что Христом может быть каждый человек, и почему Иисус в еврейском народе, а не Данило Филиппович или Кондратий Селиванов в русском народе? Или еще какой-нибудь Иван Тимофеевич из Кинешмы? Чем Кинешма хуже

Назарета? Уж, наверное, Назарет такая же дыра, как и Кинешма («из Назарета что может быть хорошего?»). Сейчас там проходит асфальтовое шоссе, есть бензоколонка и рекламные щиты, да и тот же Иерусалим — вполне современный город, разгороженный стенами, как несчастный Берлин. Первые христиане, наверное, знали лачугу, в которой жил Иисус, незаконнорожденный, с родителями, как и дом Ивана Тимофеевича знали все хлысты его грязной мещанской слободки. Смешно, конечно, что глупые, забитые обыватели называли Христом какого-то Ивана Тимофеевича, тоже неграмотного, запуганного начальством мужика, но почему и не назвать? — у них такое право было.

Я обосновываю право каждого человека на свое Евангелие. В принципе каждый человек имеет право на благую весть, повторю снова, ибо он с чем-то пришел в мир. У него свое Сретение, свои Страсти, свой Крестный путь, он молит, чтобы миновала его горькая чаша — неизбежная смерть, и распинается множество раз. (Я говорю о людях, а не о двуногих. Человек — тот, кто жив, т. е. имеет личность. Смерть есть потеря личности. Неимущий личности мертв при жизни. Мертвый не несет благой вести.)

Итак, я начинаю с того, как человек приходит в мир.

Это необъяснимо, это не только тайна, но и чудо.

Почему ты получил свое бытие? Почему две песчинки столкнулись в вечности именно в этот момент, и ты обрел себя, а не будь этого, ничего бы не было, тебя бы не было — пустота и бесконечность, такая же, как до рождения и после смерти. Здесь жуткая тайна, и ее страшно касаться. Для чего же ты пришел в мир, живешь, вкушаешь бытие? Чтобы познать смерть и ничто, ничто навсегда! Слишком дорогая цена за бытие! Когда я думаю об этом, я кричать готов. Я не хочу, не хочу уходить, я хочу жить вечно!

Но бесполезны крики. Все обречены.

Я говорю о человеческом чуде рождения.

Рождество имеет каждый человек.

Рождеству предшествует непорочное зачатие.

Я знаю, что всякое зачатие непорочно, и оно есть чудо, ибо две пылинки столкнулись в вечности.

Над непорочным зачатием смеялись все, кому не лень. Можно смеяться сколько угодно, удивляясь куче нелепостей. Можно сказать, что это наивная сказка, такая же, как сказки древних греков. У тех боги сходились со смертными женщинами, и те рождали от них героев. Боги сходили то в виде золотого дождя, то в образе лебедя, а здесь в образе голубя. Благая весть через

посредство архангела, да еще к обрученной. Сын ее — незаконнорожденный — вот уж смех, ничего лучшего не придумали для Бога-человека. Средневековые схоласты дискутировали: была ли Мария девой? осталась ли после родов девой? и т. п.

Для прозаического реалистического сознания здесь сплошная ерунда. Но тем-то и гениально христианство, что оно в основе ставит чудо. Христос и должен был родиться непорочно, чтобы быть человеком и Богом. Иначе религия лишается своей метафизической высоты, духовно обедняется, становится исламом, религией низшей культуры. Пророк Мухаммед, имевший несколько жен и скончавшийся от плеврита, явный эпилептик — это пошло. Провозвестником новой религии должен был быть человек непорочный, чуждый внешне-земного, во всем — вопреки здравому смыслу. (Потому что само христианство во всем — вопреки здравому смыслу.)

(Я не собираюсь заниматься православной теодицеей, не мое это дело, у него есть свои защитники. В своей вере я дошел до последних глубин отрицания. Но сейчас мне удобно встать на православные позиции и доказать, что чудо существует, да и раздражают меня пошлость и тупые насмешки над тем, что художественно прекрасно.)

Сама жизнь есть чудо. Само появление сознания, разума в косном мире — уже чудо. Вопреки здравому смыслу — здесь и лежит основа чуда. И столкновение двух пылинок в вечности, и твое бытие — тоже вопреки здравому смыслу. Вся земная жизнь, отрицающая закон энтропии, происходит вопреки здравому смыслу Ничто. Так наше появление на свет есть чудо, и всё, что вызвало это появление — непорочно.

Зачатие — чудесно, потому что оно вне разума, вне здравого смысла. Здравый смысл здесь увидит только физиологию. Это возбуждает отвращение. Но когда мы отвлекаемся от всего этого, мы видим только чудо совершенного.

Значит, мы не можем допустить физиологического объяснения. Мы можем только сказать: зачатие всегда таинственно и непорочно, свято, роды — чудесный момент, вне всякого разума и критики. Человек родился — и это все. Человек, в силу таинственного хода вещей, получил жизнь именно в это время, в этой стране, у этих родителей. Его Рождество безгрешно и свято. «Живущий прав!»

Прав тем, что живет.

И тем, что умрет.

ИСКУШЕНИЕ

Каждый человек, имеющий личность, одинок. Он в пустыне. Он алчет. Он подвержен искушениям. Он хочет, чтобы камни превратились в хлебы, он готов броситься навстречу неведомой силе, он безграничен в своих стремлениях и готов взять власть над всеми мирами.

Всё это бессмысленно, потому что всё уничтожимо смертью, и не в том цель человеческая.

Принято говорить, что у каждого своя судьба. Человек идет своим путем, которого он часто сам не знает. Я не уподобляю целиком его путь пути Христа. Это путь исключительности. Но каждый человек, независимо от его качеств, положений, способностей и всего прочего — мирского, бывает Христом в своем непорочном рождестве, в своем искушении, в своих страстях и в своей неизбежной смерти — распятии.

Искушения и страсти большинства людей мелки, ничтожны, есть счастливые натуры, которые совсем не испытали их, но, так или иначе, в той или иной степени, они касаются всех. Излишне говорить, что блаженство — не удел человеческой жизни. Что уже тот счастлив, кто имел хоть несколько блаженных дней.

И все-таки земное бытие, каким бы оно ни было — со всеми ужасами своими — есть сладость, пусть горькая, но сладость существования. Но наступает время расплаты за вкушение сладости бытия. Бытие твое обречено, оно должно быть оборвано вопреки твоей воле. Ибо воля всего живого — жить, и жить в бесконечности. Тщетно молить, чтобы чаша сия миновала тебя. Ничто не поможет. Не поможет Ничто. Бог зовет сына к себе. Бог-Ничто (так называл его Майстер Экхарт). Ничто поглотит тебя, насовсем, навсегда, на всю, всю вечность. Ты был и не был.

Вот ужас, вот в чем Крестное Распятие Человечества и Человека. Вот что отравляет лучшие минуты жизни, не дает познать истинного счастья на земле, ибо счастье беззаботности — еще не счастье. Природа говорит: «Се Сын Человеческий, и он умрет!»

Как жить с такой мыслью? Она невыносима. Тот, кто ощутил ее так остро, как я, бежал в пустыню, плача и рыдая, посыпая главу пеплом, как бежал Христос и анахореты. Слез не хватит выплакать отчаяние! Крика не хватит выкрикнуть весь ужас твоего, твоего, а не чьего другого уничтожения! Горе нам, о, горе!

Чтобы выдержать этот ужас, надо либо признать иной мир, иное бытие («Царство Мое не от мира сего»), либо принять все

искушения мира сего. И мы принимаем их. Мы говорим: не сейчас же, мы еще поживем, понаслаждаемся жизнью, попрыгаем! Им даже весело, они готовы шутить со смертью. Они придумали успокоительный силлогизм, который стоит во всех учебниках логики: «Все люди смертны. Кай — человек. Ergo...» Ужас понят формально!

Люди думают о чем угодно, только не о смерти, будто это такой пустяк, который их не касается. Они еще острят: «Когда мы живем — смерти нет, когда помрем — нас нет». Они как животные — когда умрет кто-то рядом, рычат и пугаются и шерсть дыбом, а потом всё забывают и снова веселы. Задуматься над тем, как ужасно прекращение твоего, именно твоего существования, никто не хочет. Это игнорируют даже почти все философы и почти все художники и поэты. Лишь святые понимали это, молились и выплакивали глаза. И это было тщетно.

Люди смирились со смертью — ведь не сейчас же! — и живут, как будто им жить вечно. Они не хотят бросить великий вызов смерти. Бросить вызов, как бросил его Христос. Это была та тайна, которую Он познал в пустыне. И мы должны бросить вызов, который избавит от страха, как избавляло прежде христианство.

О, как мне страшно от предчувствий своего конца, от ужаса небытия! Пропадают силы жить, я готов кричать и молчу и сердце разрывается от отчаяния. Горе мне, горе, о, горе!

Если бы верить, если бы просто верить в доброго старого боженьку, в Бога-Отца! Но нет такого Бога! Бог — не отец, Он, допускающий смерть, Он, позволивший дьяволу соблазнить человека, Он, не пощадивший своего Сына. Нет такого Бога и не может быть. Есть бог-Ничто. Все мы рабы этого бога, рабы Ничто.

Я, Виктор Вельский, ушел от мирской жизни, чтобы предаться жизни мировой. Я — инок богоотрицания, раб Nihil.

Я скрылся в пустыне большого города. Я никого не вижу, ничего не читаю, я занят Богом и собой, своей погибелью (для монахов это называлось «спасением», я же не обманываю себя).

Никто не осмелится в наше время повторить подвиг Христа в пустыне. В наш сумасшедший век никто, кроме сумасшедшего, не может позволить себе сорок дней ничего не делать и только размышлять о Боге. Я осмелился. Я ушел от всего, чтобы первым из людей заглянуть в Ничто и понять его. Нельзя безнаказанно смотреть на Лик Бога и остаться живым. Я обрек себя.

Я пошел дальше Христа. Пусть не поймут это как кощунство, мне трудно объяснить, но это так. Христос искал Бога, обрел

Его и явил миру Свое слово в Нагорной проповеди. Я иду дальше личного Бога, дальше моральных законов, в Ничто, совершенно один, без Бога, без упований и надежд. Я одинок, как Человечество в Космосе, в бесконечности мироздания. Я в безмолвии. Никакой зримый дьявол не явится меня искушать. Я сам искушаю себя, подвергаюсь грандиозному самоискушению. Я святой без Бога.

Не знаю, не считал, сколько дней и ночей пробыл я в полном одиночестве, наедине с миром и вечностью. Это была мука хуже одиночной тюрьмы, подлинный мрак души. Все кончилось, я мучался, страдал, распадался. Это неопишимо, что происходило со мной. Я познал ад наяву. Я погубил себя. Временами я постигал, как душа отлетает от тела и тоскуя обнимает весь мир. Временами я чувствовал, что умер и во мне копошатся черви, они ощутимо ползали по мне, и у меня не было сил смахнуть их. Я воплотил в себя весь ужас небытия. Он находил внезапно, как припадок, заставлял цепенеть мой ум, вскрикивать, бросаться, кидаться, кататься в отчаянии по полу. Иногда меня пронизывал сладостный до изнеможения восторг, и я терял сознание, коснувшись сверхреального. Это было нечто похожее на эпилепсию. Я знаю, что организм мой разрушен, психика подорвана — никому не дано даром взглянуть в лицо Вечности. Но я, мне кажется, я верю, постиг истину. Меня посетило откровение, для меня оно было апокалипсисом моей души. Дитя научного века, опускаясь в бездну, я вел урывками записи и оставляю их вам как мое Откровение, мое изумительное богословие, последние пределы разума, граничащего с безумием.

До сих пор все великие герои боролись с жизнью. Они жили и боролись в жизни. Я первый, кто стал бороться со смертью. Я говорю: нельзя жить, пока существует смерть. Весь смысл человеческого существования уничтожается ею. Я — из первых, кто не принимает смерть пассивно, как должное. Все человеческие подвиги — ноль перед лицом смерти.

Для человечества возможна одна великая альтернатива: либо оно победит смерть, либо смерть победит его.

По закону природы, ответ предрешен, и всё же я верю — человечество будет стремиться победить смерть. Выше этой задачи для него ничего нет и не может быть. Здесь альфа и омега, здесь кончаются все религии и все науки, и начинается новая земля и новое небо — не постижимое воображением. Так я при-

шел к великой Науке бессмертия, к Истине своей Нагорной проповеди.

Как тяжело жить этой идеей! Она не под силу человеку. Она не под силу мне. Я измучен, болен, запуган. Я, так остро понявший ужас небытия, хочу вырваться из него. Я жить хочу! (Вот оно искушение! Вот что отвлекает меня от служения моей Истине!) Да, жить хочу, до безумия люблю эту несчастную жизнь! Как я понимаю ее, как дорожу ею!

После своей «пустыни» я привел себя в порядок и вышел на улицу. Я был как после тяжелой болезни, меня пошатывало, от свежего воздуха кружилась голова. Люди странно смотрели на меня, дети шарахались в сторону, какая-то девушка, на которую я пристально взглянул, испуганно вскрикнула. Я был счастлив как никогда, как никогда жизнь казалась мне прекрасной, имеющей единственную абсолютную ценность. Прекрасно было жить. Радовала каждая малость, каждая материальная частица, которую можно видеть, чувствовать, осязать. Интересно было жить, в жизни показался великий смысл. Снова стало казаться, что жизнь бесконечна и сулит многое, что я такой же человек, как все, что впереди всё. Я ощутил поэзию самой простой, обыденной жизни. Помню, я увидел мать с ребенком, малышом и растрогался: мать с ребенком, что может быть прекраснее, это образ жизни. Восторг переполнял меня, но на дне души притаилось черное чувство небытия и ждало своей поры. Его можно забыть на время, отвлечься, но преодолеть нельзя.

И всё же, и всё же я хочу, безумно хочу жить! Да, жить, жить, до безумства, до восторга, до экстаза!

Жить!

Жить!

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Я — Сын Человеческий, и у меня есть своя Истина. Я говорю свою Нагорную проповедь.

Я говорю, что всё, что сказал Христос, — прекрасно, что лучше, чище, благороднее слов еще не было произнесено. Что слова Христовы и по сей день идеальная основа человеческой морали нашей христианской эры, то, что мешает нам окончательно превратиться в скотов. (Наша эра — эра Рождества Христова, но не эра Воскрешения Христова — в этом ее неразгаданная тайна.)

Но Христос сказал не всё, не всё сказали и апостолы. Правда, Павел сказал: «Побеждайте время, дни злы»^{*)}). Но это был лишь намек.

Наш атеистический век отверг христианство. Отверг его и я. И я смеялся над сказками о рае и аде. Я и сейчас не верю ни в рай, ни в ад, но смеяться над этим столь же глупо, как над непорочным зачатием. Я иду дальше христианства.

Я понял христианство как гениальную мечту человечества о бессмертии.

Я повторяю: человечество должно достичь бессмертия, иначе оно не имеет смысла!

Это же по-своему говорит и христианство, но оно ждет бессмертия от Бога.

Я же говорю: человек одинок в мироздании и Человек — Сам!

Я говорю это не первый. У меня есть предтеча. Это наш русский философ Николай Федорович Федоров. Он первым восстал против несправедливого закона природы — против закона умерщвления. Он говорил о сыновней обязанности воскрешения отцов и о заселении родом человеческим небесных земель.

Я говорю, что всё это сбудется, хотя и не так, как мы ожидаем.

Времена и сроки неизвестны. Это будет, когда все науки, искусства и все роды человеческой деятельности сольются в единую всеобъемлющую науку бессмертия.

Ибо для чего все науки и искусства, как не для совершенства человека?

«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Совершенство означает стать равным с Богом, взять на себя всю Его силу и могущество.

Это можно понять как осуществление всего, что только можно вообразить.

Ибо всё в нас — от мира (от Что, а не от Ничто), и нет ничего, что не от мира, и все мечты наши таковы, что так или иначе они заложены в природе как скрытая возможность. Так и бессмертие заложено в природе (хотя бы в жизни одноклеточных).

Мы ничего не можем пожелать, чего не могли бы достичь. (Я говорю «мы», человечество, не я, единственный, я могу пожелать

^{*)} Очевидно, автор пишет по памяти. Подлинный текст цитаты таков: «Итак смотрите, **поступайте** осторожно, не как неразумные, но как мудрые, **дорожа временем, потому что дни лукавы.**» (К Ефесеям 5, 15-16.) — Р е д .

себе неосуществимое — взлететь на Луну и пр., но для человечества в совокупности это достижимо.)

Люди достигнут бессмертия и разойдутся по Вселенной. (А может быть, достигая бессмертия, постигнут Вселенную или обратно, неважно.)

Это будет новая земля и новое небо.

А Страшный Суд? А добро и зло, за которые последует воздаяние? (Проблема, которая мучила Достоевского.)

Я говорю, что всё это не имеет смысла.

Добро и зло должны быть оплачены только в реальном бытии. Метафизические истины выше их.

Можно считать, что всякое Воскрешение уже есть Преображение, и Новая земля и Новое небо должны наступить для всех, избавленных от грешной оболочки. Значит, все спасутся. Это говорит Федоров.

Я говорю иначе.

Страшный Суд и Апокалипсис — всё это чепуха, запугивание, всё это художество. Самый Страшный Суд — суд равнодушной природы, наша смерть. Второе Пришествие и есть Смерть. Каждый из нас — осужденный, против которого природа ведет свой «процесс» (Кафка), исход которого заранее предрешен.

Что же нам остается? Верить в нелепость или верить в недостижимое?

Можно верить в нелепость как в чудесное, выше здравого смысла.

Но будем верить в недостижимое!

Можно сказать, что недостижимое — это Бог.

Тогда человечество только стремится к Богу и, достигнув недостижимого, обретает Его, т. е. Бога, Совершенство, Абсолют.

Человечество, достигнув бессмертия, достигает полноты Бога, Абсолюта, Абсолютной Истины (дело не в названии), становится Богочеловечеством (опять же дело не в терминах).

Но, достигнув Абсолютной Полноты, оно становится ненужным: ибо нет ничего сверх (сверхцели) — прекращается движение, и всё объемлет единое Все или Ничто.

Достижение совершенства, каким сейчас мы можем наделить Бога и которое возьмет на себя Человек, есть конец Истории.

После этого наступает полное блаженство, растворение в вечности, слияние с вечностью, всевидящим разумом...

Как всё это произойдет и на что будет похоже, нельзя сказать. Это запечатанная тайна. Смешно фантазировать.

Ясно одно: это то, к чему, пусть даже против воли, стремится

человечество, чему в конечном итоге служит всё, что совершается на Земле, и доброе, и злое.

Человечество должно достичь бессмертия, иначе оно не имеет смысла.

Итак, будьте как боги!

ПУТЬ СЛАВЫ (ЧУДЕСА. ПРЕОБРАЖЕНИЕ. ВЪЕЗД В ИЕРУСАЛИМ)

Кто отзовется на мою Нагорную проповедь?

Кто поймет в нее веру?

Не покажется ли она здравому смыслу столь же бредовой и неисполнимой, как и проповедь Христа, его моральный максимализм? Христос хоть обещал поверившим личное спасение, давал надежду на бессмертие, я же и этого не могу дать.

Я даю не надежду, я даю цель — всем: злым и добрым, верующим и неверующим, язычникам и христианам. Я сказал, для чего должно жить человечество, и очертил его последние пределы.

Для кого я сказал? Глас мой вопиет в пустыне. Камни еще не возопили. Я одинок, ничтожен, мал. У меня нет никого, кому передал бы я апостольские деяния. Нет ни одной близкой души. Не к кому обратиться, не от кого выслушать слово участия. Учение мое написано на песке, и любой ветер может сдуть его. Нечему сохранить его.

Христос ходил и проповедовал и творил чудеса. Так он убеждал легковверных людей. Интересно, что бы делал Христос сейчас, сосредоточенно шагая в толпе в своем потертом пиджаке? Кто поверит сейчас в чудеса? Кто поверит человеку не от мира сего? (Об этом уже писал Достоевский.)

Вот я — Христос (как и каждый человек). Я принес свою Истину. Что я могу сделать с ней? Кому передать? Не смешно ли в наше время, в нашем государстве, в нашем мире? Никто не захочет слушать меня. Мне даже рта не дадут раскрыть, ведь я несу свою Истину (а положено повторять чужие слова)! Если я начну ходить и проповедовать, меня посадят, в лучшем случае, в сумасшедший дом. (Назарянину было куда легче в ожидавшей Мессию Иудее.)

Но если я выскажу свою Истину людям и они даже выслушают меня, что скажут они? Недоуменно пожмут плечами. «Что это за Истина, скажут они, что она нам сейчас дает?» Христос

говорил им, что время близко, что Страшный Суд будет едва ли не на днях. Я и этого обещать не могу. Я даю только великое отчаяние и великую цель. Я не обещаю никакого личного Воскресения. Никто не получит обратно свою плоть. Но люди, какие-то люди, которым мы передадим свои заветы, достигнут бессмертия как последней цели Человечества. И их бессмертие будет растворением в вечности, т. е. опять же Смертью. Кому нужна такая Истина, которая неизвестно когда исполнится и не сулит лично тебе никаких выгод?

Какого ученого убедишь ты? Все они загипнотизированы непреклонностью законов природы и не захотят тебя слушать. Какая для них наука бессмертие? Они верят только в свои науки и видят в них абсолют. Остальное их не касается. Они не понимают, что все служат одному делу.

И художников и поэтов не убедишь ты. Они заняты внешней оболочкой явлений, и лишь немногие заглядывают вглубь.

А что касается простых людей, так называемых людей масс, то им это и вовсе чуждо, ведь они и так считают себя бессмертными и умирают, не понимая, что давно умерли при жизни. Их занимает повседневное: семья, квартира, дороговизна и прочее. Сверх им ничего не надо. Им и без того в жизни приходится нелегко. Да и как жить в этом сумасшедшем мире, который каждую минуту готов взлететь на воздух, когда мир за тысячи лет не устроен и не налажен и каждому простому человеку здравый смысл говорит, что надо сначала наладить мир, а потом думать об остальном.

Но Истина не спрашивает, когда ей придти. Она появляется в самое неподходящее время.

Мне скажут, насмехаясь: о какой цели человечества можно говорить, когда мир раздираем непримиримыми противоречиями и люди готовятся уничтожить друг друга?

Не знаю, что случится в ближайшие времена, но знаю, что — в отдаленные. Ясно, что в разделенном мире не может быть добра. Человечеству предстоит пройти через всё, через любой Апокалипсис, чтобы достичь Совершенства и Бога. Как это случится, не загадываю, но знаю, что случится.

Я не отменяю законы и не ввожу новые. Не надо никакой новой веры. Вера в Ничто и есть ничто. Всё случится своим чередом.

Я — Христос без апостолов, проповедник без внимающих, святой без Бога.

Ему-то что — Он говорил о лилиях!

Я иду Его путем.

Я сотворил чудо без чудес — свою Истину. Как и в чудеса Христа, в нее не поверят фарисеи.

Достигнув Истины, я преобразился, отбросив свою прежнюю греховную оболочку. Ничего нет со мной, что было раньше. Я переродился. Я явился в белых ризах в фаворском сиянии.

Чтобы утвердить Церковь тела Своего, Христу потребовалось принести Себя в жертву, пойти на Распятие. В славе Своей Он въехал в Иерусалим и тогда только один Он знал, что идет на муки. Чтобы Истина утвердилась, стала плотью и кровью, надо принести себя в жертву. Вот что такое «Въезд в Иерусалим»: зная о смерти своей, идти к ней навстречу ради торжества Истины.

Значит, единственная возможность, чтобы моя Истина утвердилась, — принести себя в жертву. Тогда мне поверят.

Нечеловечески тяжело быть Христом!..

Я — Христос, Сын Человеческий и иду своим путем!

Такова моя прекрасная символика.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Я — Сын Человеческий и, следовательно, Христос. (Другая глубокая, малопонятная истина та, что я — Антихрист, ибо допускаю своеволие, говоря: человек — сам, т. е. без Бога. Истина в том, что в каждом человеке Христос и Антихрист. Раз во имя свое, то уже Антихрист. Антихрист — тот же Христос, но с обратным знаком, его антимир. Это слишком глубокая апокалипсическая символика.)

Я уже сказал и повторяю: Христос — каждый человек (или иначе — в каждом человеке Христос), но не каждый понимает это. Это понял я, понял так глубоко как никто. И раз я понял это один, я должен ответить один за всех. Во мне одном сконденсировался весь ужас мира. Ужас небытия не дает мне жить. Я должен убить себя и тем избавить мир от ужаса. Больше никому не будет больно и страшно, потому что я боль и страх вобрал в себя.

Так сделал Христос, обрекая Себя на жертву человечеству, свершив Свой крестный подвиг. Он совершил самоубийство! — вот гениальная разгадка! Он умышленно шел к смерти и желал ее, потому что иначе нельзя утвердить Истину. Но Он не мог совершить своими руками и поэтому добровольно отдал Себя на растерзание палачам. Перед этим Он молил Бога, чтобы Его миновала сия чаша (в Гефсиманском саду), но чаша сия, т. е. смерть,

не минует человека, и бесполезно просить о том Бога Смерти. И вот Он позволил Иуде донести на Себя, спровоцировал его на это и добровольно отдался в руки палачей. Он должен был мучиться и хотел этого. Он страдал на кресте и пошатнулся в вере, взывая к Отцу, но нет Бога-Отца, есть Бог Смерти, Он не поможет. Он испустил дух в тщетном уповании. Он наслаждался Своей смертью, Он нашел в ней сладость, вот в чем ужас! — Он стремился к ней. Это воля к смерти. И я стремлюсь к ней, я жажду повторить Его подвиг. Это и будет мое Второе Пришествие. Потому что первое пришествие у каждого человека — Рождество, второе — Смерть. Распните меня! Распните меня!

Я сам фарисей, кричащий: Распни его!

Мне нужен Иуда. Но кто такой Иуда? Я уже сказал, что это сам Христос, донесший на себя. Христос так же необходимо допускает Иуду, как Бог — Дьявола. Значит, я должен сам донести на себя.

Но как? Куда я должен придти и сказать: вот я, Сын Человеческий, распните меня! Смешно? Нет, страшно, страшно!

Неужели я не заслужил распятия? Я преображенный, я святой, я отрешился от всего, принял печать избранничества. Это мне давно известно, я понял это по бросаемым на меня взглядам. Вид мой чужд земному, я человек четвертого измерения. Обычные люди живут в трех измерениях. Пришли в мир и живут. А есть еще четвертое. Это время, в котором ты жилец. Это ужасно и жутко. Понимают это немногие, отрешаются ради этого, уходят в ничто добровольно — единицы. Я пророк неведомого Бога. Пророк Бога-Ничто. Имя мое — Человек. Прозвище мое — Смертный.

Мне нужно как-то убить себя, уйти в Ничто, из которого всё выходит, в которое всё приходит. Не Я, а Ничто, Ничто! Зачем я? О, Ничто, Ничто! Я хочу умереть! Распните меня!

Распните же! Вы не поймете меня, как не поняли моего предтечу Христа! Я такой же чужеродный, не от мира сего, смущающий покой ваш, непонятный и ненужный, я враг ваш. Вам станет спокойнее без меня жить чревом и сексом, жрать, испражняться, плодить себе подобных и не знать о Ничто, забыть о Ничто. Вам-то что! Ведь вы бессмертны, как пошлость. Среди вас много очень умных, как книжники и фарисеи, да что ваш ум перед Ничто? Поймите же! Как мне задеть вас, толстошкурных, как возмутить вас, чтобы вы распяли меня?

Найти Иуду! Донести на себя! Я и делаю это. То, что я пишу, и есть мой грандиозный самодонос. Осудите меня! Найдите Варавву. Распните меня! Скорее распните. Лучше распните, ведь не-

понимание и есть распятие. Что́ я вам — больной, измученный, ради всех заклавший себя пророк? Какое мне место в человеческом муравейнике, в этом теплом и вонючем общежитии? Что ж, если я Христос и Иуда в их новом воплощении? Закидали бы меня камнями, рвали бы на куски, терзали бы внутренности. Я хочу принять мученичество за весь ваш сумасшедший мир, готовый взлететь на воздух. Тут нужна искупительная жертва, агнец нужен, невинный барашек, им буду я.

Мне детей жалко, всех жалко, себя жалко. За что так? За что? За что умирать всем? За что умирать мне? За какое дурацкое грехопадение? Ведь нельзя же жить с этой мыслью! Я хочу быть Богом или умереть. Убейте меня! Я бросил вызов Богу Смерти, я первый, да, я провозгласил, что нельзя жить в рабстве тления, нельзя, что человечество должно жить для бессмертия или не жить. Я не могу жить, сознавая всё это. Лучше убейте меня!

Что мне делать? Я же за всех вас, за всех, а вы, конечно, так и не поймете меня, ведь иначе вам придется жить в том же ужасе, что и я, и страдать, а вы не хотите этого, вы надеетесь проскочить, обмануть неотвратимое. Так зачем смущать себя? Порвите меня, отрекитесь от меня, распните меня! Ведь вы хотите истребить друг друга, уничтожить миллионы, прекратить жизнь на земле, а одного за всех, на глазах у всех, взять и распять, просто так, ни за что, за одно возмущение. Ведь вы, люди, жестоки и немилосердны, так что́ вам сто́ит распять Человека, который этого хочет?

А-а, не можете? Уже не можете? Уже не можете!

У меня больше нет никаких аргументов, остается ждать, пока всё сбудется своим чередом. В том, что сбудется, нет сомнения, это будет скоро. Скорее бы, а то они могут раньше сжечь мир, чем распять меня, а надо распять меня, и тогда мир будет спасен.

МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ

Весь ужас в том, что Бог проклял человека. (Это можно понять и как природный закон умерщвления.) Бог не благ. Он не добр. Он не Отец. Он Дьявол, имеющий державу смерти. Он обманывает человека.

Я говорю, что каждый человек имеет свое Сретение, идет своим Крестным путем к Распятию-смерти.

Человек молит Бога о бессмертии, как молил Его Христос в Гефсиманском саду, но тщетно, чаша сия никого не минует.

О, злой Бог!

Это Ты, Ты отдал меня, сына Своего, во власть смерти! Ты! Я проклинаю Тебя! Я не молю Тебя о чаше, я выбиваю ее из Твоих рук. Я не хочу, не хочу умирать! О, ужас!

Ужас в том, что умрешь и так ничего и не узнаешь. Просто всё кончится. Навсегда.

А Бог? Кому молиться?

Молиться... Встать на колени и, слабоумно умиляясь, шептать тепленькие слова... Нет, я — Человек и не согну колен перед неведомым, пусть я раб его, но и в рабе есть гордость, и он имеет дерзновение встретить кару стоя и пасть героем.

Я знаю, что Бог нужен людям. Человечество не может оправдаться самим собой. Человечество не живет само для себя, есть цель выше его. Так же и Бог не может существовать Сам для Себя. Ему человек нужен, чтобы воплотить Свое бытие. И этого человека Он предаёт. От такого Бога я отказываюсь.

Я обосновываю свое новое изумительное богословие.

Да, говорю я, человечество живет для оправдания чего-то неизмеримо высшего, чем оно само.

Само человечество в своей обыденности — отвратительное, мелочное, несправедливое зрелище. Но оно наделено тягой к бесконечному, безграничному, по данным своим способно к преодолению невозможного. Только оно одно во всем органическом мире смогло преодолеть оболочку материального и создать духовное. Конечным стимулом его является достижение абсолюта (независимо от осуществления).

Не есть ли человечество со стороны (из надзвездных далей, так сказать) зрелище чисто эстетическое? Не существует ли оно для воплощения Высшего Разума Природы, чтобы озарить короткой вспышкой мрак времен и опять уйти в Ничто?

То есть для утверждения высшего строя Вселенной? По-иному говоря — для Бога?

Я ничего не знаю, я падаю духом, я мелок, жалок, я колеблюсь в своей истине, я мучаюсь и ищущ.

Я ставлю пробный вопрос:

Человечество для себя или

Человечество для Бога?

Или, по-иному:

Человечество в себе или

Человечество в Боге?

Человечество для себя — Человекобожие, само себя оно делает Богом.

Человечество для Бога — Богочеловечество, человечество для Высшего.

Видимая альтернатива. Я не вижу здесь противоречия. Мое изумительное богословие совмещает оба утверждения: человечество, живя для себя, живет для высшего. Первое утверждение не отрицает тяги к высшему, второе ограничивает человеческий эгоизм.

Но если мы поставим вопрос чуть-чуть иначе:

Человечество для Бога или

Бог для Человечества?

То сразу всё меняется. Нам сразу видна приемлемость первого положения. Второе абсурдно. Бог не может вмешиваться в течение человеческой истории как Абсолют, но человечество приобщено к Нему — таково явление Христа, сыновность, и наконец оно осенено Высшим Духом, который есть свет, разум. Так, помимо своей воли, можно придти к Символу Веры. Так кончается наша гордость, и все человеческие сомнения разрешаются в символике божественного, т. е. высшего, абсолютного, бесконечного.

Что же изумительного в этом богословии?

Только то, что человечество с Богом или без Бога идет к одной последней цели — достижению бессмертия. Это — последняя истина, выше которой ничего не может быть. Пока что она может быть поставлена только богословски, но со временем она станет всеединой наукой бессмертия.

Наконец встает мучительный и искусительный, страшный вопрос:

Человечество с Богом или

Человечество против Бога? (Или: человечество без Бога.)

Ясно, что человечество без Бога не может быть, это означает: человечество против себя, против своей Абсолютной Цели.

Значит, Человечество с Богом?

И всё же я не верю!

С каким Богом?

Не верю я старому нелепому Богу. Один есть Бог — Ничто. Умирая, мы достигаем Его и, обретя бессмертие, достигаем Его.

Что-то сидит во мне такое, что не дает поверить. Как просто принять добренького Бога-Отца и все блага Его вечной жизни, но если я скажу «принимаю», это будет неискренне. Не верю я в Его бесконечную жизнь, ни в ад, ни в рай, ни в новое небо и новую землю. Есть сомнения, но нет убежденности. Бог-Спаситель — слишком большая роскошь для человечества. С Ним легко, да, и

блаженны не увидевшие, но поверившие, без Него — ужасно, но в этом ужасе всё человеческое бытие.

Я снова заколебался в своей Истине, я еще не пришел ни к чему, я только думаю и вижу свою ничтожность. Я знаю, что моя Истина выше всех религий и всех наук, но сам я ничтожен, обречен и моему сломленному духу так нужен добрый Отец! (Ведь у меня, как и у Христа, земного отца-то не было!)

Но я не верю. Не верю я Тому, Кто назвал себя «Бог живых». Он — «Бог мертвых». Он берет человека в самом его уязвимом — в смерти. Он — сама Смерть, только названная «вечной жизнью». (Не это ли слово написал он на белом камне?) Не могу я смириться с тем, что Он берет меня в самом уязвимом. Пока есть силы, я — богоборствую. Но Он гасит все силы страхом уничтожения, тления, бессмысленностью перед Вечностью.

Я проклинаю Бога, я хую Его. В свете не было такого богохульника, как я!

И я хочу любить Его, как люблю весь мир! Я не атеист, потому что признаю наличие ценностей выше самого человека. Я не отступник, потому что я никогда не приходил к Нему. Я — антиатеист. Я признаю только Бога-Ничто, то есть попросту ничто.

Не знаю, не знаю, я ничего не знаю...

Неужели, неужели есть еще какая-то правда?

Да, я не верю, да, я не блажен, но я и не хочу быть блаженным. Пусть я буду мучаться, страдать и гибнуть. В этом Апокалипсис моей души.

Я не скажу категорически «нет», я говорю «не верю». Это не то, что «ни да, ни нет», это не чёртова середина. Это поиск души. Он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». А я отвечаю: «не верю»; я ищу пути сам, самовольно, и не хочу, чтобы меня на него толкали силой или слабостью. Да, я люблю и проклинаю Бога как величайшую гипотезу, созданную человечеством, за то, что без нее обойтись нельзя. Я не вижу в ней абсурдности, зная, что есть вещи выше человеческого разума — тайна жизни и смерти, могу верить внешне нелепому, внутренне правдивому, могу сказать «кредо квиа абсурдум». Но не хочу, чтобы было просто! Пусть будут муки, ад и очищение, пусть будет гибель, я хочу дерзать, дерзать до конца, пусть зря, бессмысленно, греховно и слабо, но я жажду пройти Крестным Путем Спасителя! Спасителя! Это я-то Спаситель...

Да — Я! потому что я жажду страстей, потому что я тоже Сын Человеческий!

СТРАСТИ ПО ВЕЛЬСКОМУ

Если я во всем пошел дальше Христа, то и в Страстях своих я должен перестрадать Его. (Впрочем, Христа уже давно перестрадали за две-то тысячи лет сплошных ужасов, но — по принуждению, а я — сам!)

Христа распяли, а я сам распну себя.

Мне больше ничего не остается делать. Я не могу найти никого, кто распял бы меня (т. е. таких очень много, но они согласны делать это иначе). Я не могу проповедовать свое учение и тем заслужить распятие. Меня сошлют в лагерь или посадят в сумасшедший дом. Это фарс, недостойный моих мук. Значит, я должен сам распять себя. В сущности, я уже давно распял себя на кресте невыносимых мук духа. Я молил о чаше, я изнывал, вместо воды пил уксус, мне бередили раны. Крест — лишь символ, я и так распят, загнан, уничтожен духовно, но мне нужны еще физические муки для полноты очищения. Я должен пригвоздить себя. Надо решиться, надо взять гвоздь, большой, приставить его к ладони и ударить молотком. Я содрогаюсь от дикой боли, предчувствуя это, я в то же время жажду этой боли. Я должен сделать это.

Я сделал это! Я сделал это так. Я брал длинный гвоздь, держал его в щепоти и пытался сразмаху ударить молотком, и каждый раз взмах молотка застывал в воздухе, и каждый раз дикая боль жгла ладонь, хотя гвоздь не оцарапал даже кожи. На следующий день на моей левой ладони появилась красная точка. Это и есть стигматы, которыми обладали святые (Франциск Ассизский и прочие). Я захотел стигмат на правой руке. Я замахивался молотком, симулируя удар, но поскольку я симулировал, никакого покраснения не наступило. Я снова повторил то же самое и вдруг, не отдавая себе отчета, резко ударил по гвоздю. Я вскрикнул — гвоздь торчал в ладони. Я стал выдергивать его, меня всего пронзила сладостная, до забвения сладостная, нестерпимая боль, она сжала мое сердце в точку боли, и я упал, на мгновение потеряв сознание. Гвоздь выпал, из раны текла кровь, рука болела нестерпимо, но мне стало много легче, на душе спокойно. Я приобщился к крестному страданию. Теперь я знаю, что не боюсь Христовых мук и с радостью приму их.

Но кто вытрет на лице моем кровавый пот? Некому.

До какой же степени я одинок!

Как долетит моя весть до Мира?

Уже в этом я перестрадал Христа. Он не был удручен, Он уповал, хотя и колебался. Я не тот Христос, я другой. Я черный, и весть моя черная. Мои страсти черные. Никого не ужаснут они, никого не укрепят. Всё тщетно.

Я просто больной, глубоко несчастный человек. Мне не под силу ноша моя, я сгибаюсь и падаю под крестом.

Я попытался заглянуть туда, куда конечному уму человеческого нельзя заглядывать. Я пытался проникнуть в Ничто и ощутил ужас Ничто. Того, кто заглянул хоть раз в Ничто, в Смерть, уже никогда не оставит этот ужас. Он будет таиться, отравит жизнь, сделает бесчувственным к радостям и чувствительным к горестям. Он будет трясти вас, не даст вам жизни. Вы не узнаете ничего человеческого, всё вам станет чуждо. Вся жизнь станет для вас одним неуклонным приближением к Смерти, вы будете помнить об одном неизбежном смертном часе и всё, всё в мире вам опостылеет. Наконец вы начнете стремиться к нему, навстречу Ничто и найдете в этом единственное блаженство. Это ужасно, не допускайте себя до этого, живите животными и не думайте о конце, о Ничто, иначе вы умрете при жизни, иначе вам сделается невыносимым жить.

Вот они, подлинные Страсти!

Каков же исход моего отчаяния?

Я попытался, открыв глаза, не страшась, продумать свое бытие в этом мире — то, чего не делает большинство людей, отвлеченное бытом, деятельностью, историей и прочим. Я проник в бездну и мне нет выхода наверх, на солнце, к цветам, травам и птицам. Я в ужасе от жизни в этом тварном обреченном мире.

Что будет со мной дальше? Как доживу я до неизбежной смерти? Отнимется ли у меня разум, и я не узнаю ее в лицо? Ничего не дано знать? Это ужасно. Жить ужасно. Умирать ужасно. Я кричу и знаю, что никто не может придти мне на помощь — все обречены. Ужас, ужас, ужас!

К Богу?

К Богу???

Раньше Он помогал людям, а теперь нет Его, и ничего нет — одно отчаяние. Я исчезаю, исчезаю, я всё оставил для ужаса, для примирения, для непримирения, для борьбы со смертью.

Остался один крик, крик обреченного — его никто не услышит, нет никого в мертвой звездной вселенной, небо пусто, Бога нет, Бог — Ничто, всё ничто.

А-а-а!!!

РАСПЯТИЕ

И они распяли меня!

Как хитро, как утонченно жестоко распяли! Распяли повседневной подлостью, мелкостью, ничтожеством. Я-то вознесся, я равнял себя с Христом, я ли не был гениальным! И вот...

Неожиданно приехала мать с двумя сводными братцами. Они близнецы, странные дети. Когда я гляжу на их щупленькие, застенчивые провинциальные фигурки, мне становится их до боли жалко. Где уж таким успеть в жизни, в наглой сутолоке столицы! Приехали поступать в институт, да где таким.

И мать с ними приехала как наседка. У меня нет никаких чувств к матери, чужой мне человек, но почему-то я не могу их выгнать. Иногда я киплю от злости — как они смели потревожить меня в моем погибельном затворе! Мне ничего ни от кого не надо, единственное, чего я прошу от людей — чтобы меня оставили в одиночестве.

И вот — мать, чужая женщина, которая только сейчас вспомнила обо мне и то лишь потому, что ей надо где-то остановиться. Не принимая мира, я не принимаю матери. А не потому ли я не принимаю мира, что отрекаюсь от матери?

У нас идут разговоры: «Что-то ты плохо выглядишь? Тебе надо подлечиться». Или: «Неужели ты нигде не работаешь?» Я успокаиваю, вру, говорю, что работаю внештатно, но знаю, что мне не верят.

Я понял их замысел — объявить меня сумасшедшим и занять мою квартиру. Ради этого они пойдут на всё. Причем делается это по-хорошему: тебе надо подлечиться, а зачем пока (пока!) площади пропадать? А где ты была раньше, в ту пору, когда ребенку нужна мать, ты, мать?

Моя мать должна быть Мадонной, а это — низкое, недостойное существо.

Когда Христу сказали: вот Твоя мать с братьями хотят говорить с Тобой, Он ответил, указывая на апостолов: вот Моя мать и братья. И я говорю, указывая на свою Истину, ради которой я прошел Крестный путь: вот моя Мать! (Но какая это мать, Мать-Ничто? Мне нет жизни.)

Сегодня произошла дикая истерика. Я объявил матери, чтобы они оставили меня в покое и убрались с глаз долой. Я ей всё высказал. Я сказал, что мы чужие люди, нас ничто не связывает, а с узами родства я не считаюсь. Она страшно закричала, упала на диван (выбирала место помягче!), стала биться в истерике, но

мне ее не было жалко! Я сам не знаю, почему мне не жалко родной матери. Понимаю, как это ужасно, что это величайшее злодейство, но ничего не могу с собой поделать.

Она скоро оправилась, стала причитать, что вот, воспитала сынка, я ей холодно ответил, что не она меня воспитала, а вся ее заслуга в том, что она сумела зачать в грехе. Она закричала, что не останется ни минуты у такого выродка. Да, я выродок. Потом она сказала, что понимает, что я сумасшедший и на меня нельзя сердиться. Потом она попросила подождать, пока братики сдадут экзамены. Я сказал, что ребят могу потерпеть, но ее — ни минуты.

Она куда-то съехала вместе с ребятами. Жалко, если они из-за этого провалятся, а, впрочем, чёрт с ними, человек всё равно обречен.

У меня чудесная мать! Она заявила в милицию и в психиатричку. Ай да мать! Мать!

Подумать только: Мадонна предала своего Сына! А я еще искал Иуду!

Она заявила, что ее сын — душевнобольной и нигде не работает. Она надеется, что меня или выселят как тунеядца или заберут как психа. Меня вызвали повестками, я не пошел. Ко мне приходил участковый, очень подозрительно смотрел, я объяснил ему, что занимаюсь литературной работой, а живу на скромные накопления. Ничего они от меня не могли взять.

Я хочу одного — чтобы все оставили меня в покое, забыли обо мне. Я ничего ни от кого не прошу, никому не делаю плохо. Я добровольный затворник в этом мире, монах без Бога. Оставьте меня одного с моей Истиной.

Но нет, не оставят. Видно, от мира не уйдешь, от него и Христос не ушел. Рано или поздно они пронюхают, что ты пророк, и побьют камнями. Я могу радоваться — вот оно, мое распятие! Добился! Распятие пошлостью... Неужели я только этого заслуживаю?

Они добились своего — я для них стал тунеядцем. Ко мне приходил тип из газеты, я отказался пустить его на порог. Мразь какая! Это дело рук любимой мамыши, конечно, она написала в газету. Ай да мать!

Приходил домоуправ, просил принести справку с места работы и заплатить квартплату за полгода, я и его выгнал.

И вот я читаю объявление на стене дома о том, что на общем собрании жильцов состоится заслушивание дела В. Вельского,

ведущего паразитический образ жизни. Принесли повестку на собрание, я отказался ее взять.

Сбывается реченное обо мне: «и к злодеям причтен».

Смешно... Фарс какой-то...

Хорошо, хорошо! Пусть фарс, так и надо. Распинайте меня как умеете. Хорошо! Нового Христа распинают вместе с разбойниками. Я доволен. Так и надо! Я сподобился. «В мире был... и мир Его не познал.»

Что сделал я плохого этим людям, за что они травят меня?

Только за то, что я не похож на них и знаю то, чего они никогда не узнают? О, проклятое время, проклятая страна! Ведь я за вас, за вас за всех. Вы должны мне памятник поставить и написать на цоколе: «Он научил нас бороться со смертью». А вы, как и полагается, камнями... Так и надо.

Куда мне деться от зверей-людей? Куда бежать?

Я был так велик, так божествен со своим мировым отчаянием, а они бросили меня в клопное ничтожество! Снова и снова они бьют меня. Деться некуда. Пощады нет. Они найдут везде, от них не скроешься.

У меня уже ничего нет: ни матери, ни близких, нет даже моего великого отчаяния, моей духовной сокровищницы. Мне нечем жить. И не на что жить, как это ни низменно. У меня кончились деньги. Да дело и не в этом. Работать, жить материальной жизнью стало для меня бессмысленным. Я не хочу, как все, не хочу выздоравливать.

Я хочу быть чистым, святым, божественным, светлым, Ангелом, Богом! Хочу сиять в бесконечности миров, обнимать собой Вселенную, растворяясь в сказочном эфире!

Но ничего, нигде ничего. Ужасно. Отчаянию нет предела.

Пишу это в здравом уме и твердой памяти.

Я уйду, скоро уйду куда-то, совсем, навсегда... ничего не знаю... Меня подмывает броситься куда-то и бежать, крича и плача, навстречу Ничто, в Ничто, в Ничто!

А может быть, я всё это напустил на себя? И вся жертва напрасна? Ведь ничего нет, ни-че-го. Вот мой последний крик отчаяния. Отец мой покинул меня. Я неудачник. Неудачник тем, что родился. И тем, что умру.

Нет ничего! Нет ничего! Ни причин, ни следствий. Мир бессмыслен, это мы придаем ему смысл. Нельзя верить. Наука не дает, Разум не дает.

Отец мой! Ты видишь Сына Своего возлюбленного. Он распят,

он алчет, ему бередят раны. Последний час его настал. Что же ты молчишь, Отче? Где Ты? Где Ты!

НЕТ ТЕБЯ.

ВОЗНЕСЕНИЕ

И вдруг всё преобразилось и стало просто.

Я стал Сыном Божиим. Я прошел Страсти, Крестный путь и Распятие и пришел к Отцу.

Я уже не Сын Человеческий. Последние остатки земного отлетели от меня, всё отпало, я ничего не знаю и не помню о себе, прежнем, ничто бывшее не гнетет меня, я очистился, я чист и холоден, как снег. Во мне странная легкость и отрешенность от своего тела. Дух преодолел материю. Я не хожу, я незримо парю над землей. Я не могу оставаться на месте, мой бесплотный дух куда-то влечет меня. Я ухожу. Я пройду по земле тихой походкой без следа, незримый и равнодушный ко всему. Я буду идти и идти в бесконечное пространство. Меня обнимает первозданная гармония. Ее не описать, в ней нет ничего от земного. Просто пойду, чуждый всему. Мне будет хорошо.

Затем начнется мое Вознесение. Вы увидите меня исполненным достоинства Царя Славы. Вокруг меня засияет Божественный Свет, и я потону в его сиянии. Счастливейшие мгновения! Сердце их не выдержит, меня переполняет восторг, восторг! Экстаз! Я возношусь, возношусь! Какая во мне легкость, какое могущество! Я один — весь мир. Я — вся Вселенная. Я — выше всего. Я — Бог!

Я победил во Славе Своей, я преодолел Смерть и говорю всем: Смерти нет, есть бесконечность, гармония, свет и мрак. Мне хорошо: Я — Бог! И вы должны стать богами и победить смерть. Будьте как Боги!

И помните мой Завет: Берегите мысль!

Это — истина. Я ее оплатил кровью.

БЕРЕГИТЕ МЫСЛЬ!

Виктор Вельский погиб в 1964 году. Различные заметки, оставленные им, не подчиняются определенному порядку и следуют в том виде, в каком сохранились. Одновременно с этими записями Вельский писал свое «Евангелие», и поэтому многие мысли, высказанные там, здесь повторяются. (Ред.)*

*) Редакция журнала «Феникс 1966».

Заметки Виктора Вельского, НАЗВАННЫЕ ИМ СВОИМ «АПОКАЛИПСИСОМ» ИЛИ ЖЕ «ИЗУМИТЕЛЬНЫМ БОГОСЛОВИЕМ»

ОТКРОВЕНИЕ ВИКТОРА ВЕЛЬСКОГО О ЖИЗНИ И СМЕРТИ,
О ЧЕЛОВЕКЕ В ЭТОМ МИРЕ, ГДЕ ОН ПЕСЧИНКА В МИЛЛИ-
АРДАХ СЕБЕ ПОДОБНЫХ, И О СУДЬБАХ МИРА

1. Итак, я ушел от мирской жизни с тем, чтобы предаться мировой. Я — инок богоотрицания, раб Nihil.

Я не атеист, я — антитеист.

Я никого не вижу, ничего не читаю, я занят Богом и собой, своей погибелью (для монахов это называлось «спасением», я же не обманываю себя).

Для меня это не игра в солипсизм. Это мой подвиг. Я ушел от всего, порвал все связи с миром, чтобы первым из людей заглянуть в Ничто и понять его. Я обрек себя.

Мой Бог — Ничто. Бог и есть, в итоге, это бесконечное, безвременное Ничто, из которого всё выходит и в которое всё приходит.

Удивительно, как люди могут пренебрегать им, ведь оно ждет каждого, и они меньше всего о нем думают! Суэта и повседневность спасают их (как спасали и меня раньше). Если они и уединялись, то для каких-то дел, аскеты для их «Бога для людей», один Христос, кажется, что-то понял в пустыне, но ведь Он был Сыном Божьим (по религии) или художественным образом легенды (по науке). Впрочем, может быть, это делали и другие люди, но они скрывали, в таком случае, тайну.

Я должен пострадать один и принести себя в жертву. Но чему? Кому? Людям? Зачем им это? Если все начнут жить так, жить станет невыносимо, ужаса небытия никто не вынесет. Пусть живут как хотят. Раз это открылось мне, я приму чашу. Но как бы я молил Господа, чтобы она меня миновала!

Наверное, хорошо быть нормальным человеком, современной свинкой из эпикурова стада — хотя бы интеллигентом, интересоваться всем временным, любить литературу, восторгаться живописью, наслаждаться природой, трепетать перед прекрасным, — или быть просто обывателем, жить растительной жизнью, брать баб, пить, считать гроши, любить праздники — просто и доступно.

Но я не нормален (не в смысле ненормальный, с ума спешивший, хотя и так сказать можно, я тоже болен, но единственной болезнью, болезнью небытия).

Не в том мой ужас, что я боюсь смерти. Говорят, что бояться ее не достойно человека. Это чепуха и легкомыслие. Я ее боюсь, да, но страх смерти для меня не свой только страх — он всеохватывающий ужас небытия, навсегда, понимаете, навсегда, перед исчезновением твоей неповторимости. Ужасно, ужасно! Неприемимо ужасно. Во мне снова всё сжимается от ужаса, холодеют щеки, я готов кричать, орать, кататься по полу, но знаю, что это бесполезно, и бессильно стенаю в отчаянии.

Ужасно, ужасно, что нет выхода, никакого!

Люди изобрели гипотезу Бога и утешались ею две тысячи лет. Ей пришел конец. Последний луч спасения погас. Вернуться к Нему, старому и надежному, да, но не выйдет, не выйдет! сознание развращено, лишено цельности, наука победила религию, но не дала человеку ничего, кроме конечных материальных благ, и то весьма относительных. Наука обесценила жизнь (политика вообще свела жизнь, ценность отдельной жизни к нулю). Ценность человеческой жизни давала религия. Тут бы прокричать «осанну» (как Чёрт Достоевского), но кому? Всё просто: есть Бесконечность, Вселенная, Космос, Галактика, Солнечная система, планета Земля, по какой гипотезе она возникла — всё равно, на которой в силу необъяснимых и, видимо, случайных благоприятных обстоятельств возникла жизнь, потом она исчезнет, и снова будет бесплотная материя носиться в Космосе и т. д. Ну, как тут поверить в Бога, простого, бородатого, натурфилософского, который и не знал о том, что материя состоит из атомов и что этот атом имеет ядро, которое опять же расщепляется, да еще в то, что от Бога чудесным образом у земной женщины родился Сын, который пробыл на земле тридцать три года, в этом есть прекрасная символика, но кто поверит в реальное бытие Божие? Хорошо, пусть оно нереально, ирреально, пусть это Высшая Гармония, Высший Разум, Дух, но тогда нет и Бога. Бог конкретен, должен иметь конкретный образ, *по образу и подобию* которого Он создал человека, а абстрактный, безличный, безразличный, кому Он нужен?

Но как же быть с признанием высшей силы, стоящей над людьми, чего-то высшего, что не дает им погрязнуть в злобонии? Это уже абстрактное. Это уже абстрактный Бог, вполне соответствующий духу нашего бездушного времени. Быть может, это и есть подспудная религия нашего времени? Такой Бог дает направление развития, но не указывает конечных целей. Это —

Бог бесконечного, Бог без Страшного Суда, «Бог Ничто», это тот, которому «человек для Бога». (Последние две фразы — более поздняя приписка. — Р е д.*)

2. Всякий человек, понявший свое «я», стремится утвердить себя в жизни и что-то оставить после себя.

Иначе, зачем он в этом мире?

Только затем, чтобы придти и уйти?

Для чего ты? — возникает вопрос.

Для познания ли тайн жизни и смерти? Жизни, которую не познаешь, и смерти, которую не почувствуешь, ибо смерть — потеря чувств.

Здесь смыкается божественная постановка вопроса с человеческой.

По человеческому разумению: главное — в делах человеческих.

По-божественному: главное — тайна жизни и вечная жизнь живой души.

Первое понимание стало доступно всем.

Второе неясно, доступное ранее, стало неясно ныне.

Таким образом, передо мной две проблемы: критика и утверждение бранных дел человеческих и критика и утверждение вечной жизни.

3. Современный человек живет с сознанием бренности всего земного и вздорности всего небесного.

Исходя из этого понимания, он ищет преходящих земных благ.

Но смехотворность и неустойчивость этих поисков очевидна. Они могут дать временное забвение, могут быть причиной радостей и страданий, но они не откроют смысла жизни (избито звучит!).

Какова же истина?

Таковой нет.

В поисках истины человечество пришло к Ничто. Значит, человечество должно уйти в Ничто, так же, как и отдельный человек.

Об этом говорили слишком многие, чтобы стоило на этом останавливаться.

*) Редакция журнала «Феникс 1966».

4. *Вот что надо понять:*

Бог для себя		бог для человека
Бог	и	бог

5. *Критика и утреждение бранных дел человеческих.*

Первое положение таково (тезис): дела человеческие слишком ничтожны и преходящи. Человек живет слишком мало, чтобы добиться многого и использовать блага дел своих — иначе зачем они ему.

Все великие открытия, великие творения бранны, подобны песчинке в вечности. Исторический срок жизни человечества необычайно короток — несколько тысяч лет. Представить, что человечество будет жить миллионы, миллиарды лет, немыслимо и страшно. Представить, что его не будет, еще более ужасно: для чего же тогда органическая жизнь и ее высшее достижение — живая жизнь, и высшее достижение живой жизни — человек? Здесь великая тайна, которую можно постичь лишь в озарении (таким открытием для древних был Бог).

Истина в том, что время сулит забвение всем человеческим делам. Самые гениальные открытия, проникновение в тайну вещества и прочее исчезнут, принеся скорее вред, чем пользу (атомная энергия). Самые гениальные произведения искусства тоже исчезнут. Время забудет память о человечестве, как забыло оно эру ящеров, как забыло оно те 150 миллионов лет и 4,5 миллиарда лет возраста Земли. Если же права гипотеза Джинса, то Земля должна сгореть и обратиться в пепел. По другим теориям — Земля застынет вместе с остыванием Солнца. Так или иначе, развитие органической жизни на Земле обречено. Но это за той далью бесконечного времени, которую не постигает своим временным чувством человек. Да и само человечество кончится раньше. Я не предрекаю ему гибели от атомной войны, хотя и это вероятно. Просто оно исчезнет, как исчезли ящеры. Явится ли «юберменш» — не думаю, будут ли новые разумные существа — не верю. Кто бы ни был потом, после человека, память о нем потеряет время. Наши дела, наши кумиры, наши герои, наши культуры, всё, чем мы живем, во времени — ноль = 0.

Быть может, потом, в другой системе звезд возникнет жизнь и даже разумное существо и тоже преидет. Такой взгляд не нов, он возводит к символике танца Шивы.

Второе положение таково (антитезис): дела человеческие при всей их обреченности и бессмысленности есть гигантский вызов времени, вызов небу и Богу! Только в них человечество оправдывает свое существование, иначе оно теряет даже подобие смысла. В этом великое упорство и сила человечества, его сопротивляемость, его жизненная сила. Пусть оно угаснет, но порыв прекрасен. Незачем петь панегирики человечеству, оно не заслуживает их, но нельзя не оценить его временных усилий. Оно дерзко, оно готово повелевать над временем и над вселенной. Оно легкомысленно и бесстрашно. Оно создало культ ценностей и чтит долгой памятью его слуг. Только оно одно обладает исторической памятью. (В Боге история кончается.) Оно дает бессмертие памяти своим великим сынам. Его моральные, духовные, материальные ценности дают стимул жизни и развитию. Оно преодолевает силу земного тяготения и рвется к звездам, побеждая Ничто. Оно делает открытия и теоретически подходит к проблеме бессмертия. (Основной вопрос вековой схватки науки и религии — бессмертие. Религия его сулит, наука обещает рано или поздно открыть. Если допустить, что наука откроет, религия погибла. Но может ли обещать наука жизнь вне времени, бесконечно, жизнь плотскую миллионы лет — абсурд. Должен быть конец, как бы ни велики были сроки. Но и религия, обещающая жизнь вне времени, не радует человека, который жаждет иметь небренную плоть, а нетленная, неподвижная душа в эфире — та же смерть. Вечности для человека не существует.)

Дела и потому нужны человеку, что в них он находит забвение от разъедающего страха уничтожения. Делами он противится неизбежному уничтожению. Если этот страх ощутить, как я его ощутил, то представляется выбор: сжиться с этим страхом и жить для него — это Божий страх, или же презреть его, окунуться в тварную жизнь, в дела, в суету, в гущу себе подобных и там забыться. Первые — святые, вторые — обычные люди, середина — мыслящее меньшинство.

6. В добавление к предыдущему.

Вот что удивительно: всё, что люди делают, они делают так, словно будут жить вечно. Мало-мальски задумываясь, мы понимаем ясно, что и литература, и искусство, которыми мы восхищаемся как кумирами, и головокружительные успехи науки — всё это до ужаса временно и тленно. Мы нашли способ собирать свою историческую память в слова, а слова в книги. Но рассыпятся все книги, и исчезнут слова.

И всё-таки у нас есть постоянные, абсолютные ценности. Мы называем их «Богом», понимая под этим словом самое разное, вкладывая в него самые разные понятия. Казалось бы, этих ценностей не должно быть, но они есть. Значит, этим мы доказываем наличие чего-то, что выше нас.

Но если заглянуть за последнюю черту, даже не за общую черту, что в миллиардах лет впереди, а за свою, что так близка, что же тогда? Тогда все ценности рушатся, и правы те анакореты, которые в ужасе бежали в пустыни, бросая всё.

7. Сейчас, когда я не живу среди людей и могу смотреть на мир созерцательно, я пораженно думаю: не кошмар ли все это? Вся история — сплошное преступление и предательство, кровь и насилие. Все идеи — обман. Все искусство — сны и фантазии, основанные на коллективном самовнушении. Отношения людей — грязь и корысть. Личность эгоистична.

И в то же время существует в нас высший дух, который дает возможность понять всё это и возвыситься над материальным миром. Это то, что называют Божественным началом в человеке.

8. Я понимаю, что большинству Бог не нужен. Они живут сугубо материальными интересами, видят разрешение всех своих нужд сугубо в материальной сфере, они опьянены мнимым всемогуществом науки. Суэта и скученность губят духовные запросы.

Время масс. Время материального.

Полный религиозный индифферентизм, отсутствие поисков. На Западе религия стала чисто внешней условностью, привычкой, традицией. У нас в массе она просто забыта — нет ни веры, ни безверия. Атеизм сейчас удел стольких же немногих, что и религия. Время срединности и посредственности. Или это конец или подготовка нового взлета духовности. Как бы там ни было в будущем, участь сегодняшнего времени глубоко трагична.

9. Мне Бог нужен. Но Его нет. Бог — Ничто. Бог — смерть.

10. Мы живем в век массовой культуры, и поэтому сейчас как никогда велика тяга к индивидуальности.

Культура всегда индивидуальна, массовость ее опошляет. Массовость всё опошляет. Масса антиэстетична, враждебна прекрасному.

Понижение ценностей.

Невозможность появления великих индивидуальностей.

Искусство — заря человечества. При современном развитии оно должно погибнуть.

Новые термины: время масс, человек масс.

11. Способность человеческого разума во все века примерно одинакова. Разный только уровень знаний.

12. Значит, разум человеческий в своих конечных пределах способен достичь Разума Божественного.

Другая точка зрения: достигать, не достигая, бесконечно стремясь к Абсолюту.

13. Чтобы отразиться в Вечности и исчезнуть?

14. Человек должен доказать свое право на жизнь, иначе он подлежит уничтожению.

Большинство людей этого права не имеет.

15. Ты думаешь, ты сейчас истинный?

Мы никогда не знаем, когда бываем истинными.

16. Даже узколобым практицистам теперь ясно, что человечеству не устроиться всемирно. Переизбыточному человечеству не видеть добра.

Все представления о счастливой общине предпочитают видеть ее небольшой. Таковы ранние утописты, таков их греческий прообраз. Даже Маркс не мыслил миллиардными категориями. И «тот свет» представлялся людям как небольшая община (Данте).

О, горе, о тяжкое похмелье: ни Бога, ни коммунизма.

Где же выход?

17. Исторически марксизм был нужен для того, чтобы показать, что жизнь нельзя построить по теории.

Человечеству нужны не теории, а цель.

18. В XIX веке было написано (В. Соловьевым) «Оправдание добра». Надо бы написать «Оправдание зла». (Например, «насилие есть повивальная бабка истории» и пр.)

19. Мы рассматриваем зло как закономерность, а добро как случайность. Значит, зло абсолютно, а добро — относительно?

Смерть абсолютна, жизнь относительна.

В истории существует множество примеров абсолютного зла, кончая Сталиным и Гитлером. Для абсолютного зла нет оправдания. (Нельзя говорить об исторической необходимости, о том, что цель оправдывает средства.)

Существует единственный пример абсолютного добра — Христос. Но это добро предания, добро идеала, достичь его может Богочеловек, достигший его (Христа) станет Богом, но это невозможно, доколе человек будет принадлежать смерти.

20. Из всех животных только человек знает, что он умрет, потому что он не животное.

Живое живет с сознанием собственного бессмертия, и его задача — остерегаться грозящих случайностей. Животному смерть ему подобного представляется случайной (как и дикарю).

На одном человеке лежит проклятие жизни и смерти.

21. Видимо, зло есть свойство высокоразвитых форм. Оно требует проявления инстинкта или разума. Одноклеточные, разные амебы, не добры и не злы, так же, как трава, листья и пр. Чем ближе человек к простоте, тем менее ему свойственно зло.

Значит ли это, что стремление к простоте означает путь к добру? Частично да.

Можем ли мы сказать, что смерть, означающая упрощение и разложение на первичное, есть добро? Нет.

Но, признавая жизнь, мы признаем зло как один из неизбежных сопутствующих моментов.

Совершенное добро на земле невозможно, недаром считает христианство (хотя к нему следует стремиться).

Человеческая жизнь — причудливое смешение добра и зла.

22. Зло возросло, но и добро возросло.

Если зло всё время держит мир перед угрозой уничтожительной войны, то только добро удерживает от этого до сих пор, проникшее в большее, чем прежде, число людей осознание добра.

Добро и зло — антимир, они не должны соприкасаться, иначе последует взрыв.

23. Как хорошо быть простым человеком!

Быть простым человеком и жить просто. А жить просто — ближе к Богу.

Но нет. Современная простота — не ближе к Богу, к Совершенству, это удаление от Него, это только пассивное Чистилище.

Нельзя жить просто, уже нельзя. Да и не получится.

24. Мы не задумываемся ни о жизни, ни о смерти, как сороконожка — какой ногой двинуть. Если задумается, не сможет ходить.

25. Люди находят всякие страхи в жизни — войны, социальные неурядицы, не понимая, что над каждым тяготеет один страх — конец личного бытия. (Общественное иллюзорное бытие кажется важнее личного, потому что кажется, что личное зависит от общественного. На самом деле, личное бытие — единственная реальность, которой мы обладаем, кроме него у нас нет иного достояния.)

26. Если люди придумали Бога, то не зря.

27. Можно ли любить Бога?

Бог — Вечность.

Можно ли любить Вечность?

Она равнодушна к любви, к добру и злу.

Любовь относится к Христу, к вочеловечению Бога.

Толстовский Бог-Любовь.

Но Бог-Вечность, Бог-Смерть, Бог — растворение в вечности.

Бог — Любовь — Смерть.

Здесь неразгаданная тайна бытия.

Но, значит, любить Бога — любить Смерть?

Этого нельзя допустить.

28. Человек то, через что проявляется.

Гениальное откровение.

Через него Бог являет Свое Лицо, произносит Свое Слово.

Без Человека не было бы Бога (не в смысле изобретения гипотезы), т. е. Бог был бы безграничное Ничто (в которое всё, в итоге, и придет, но человек это ничто ограничивает).

Человек так же нужен Богу, как и Бог человеку.

Всё это старые истины. Я их сейчас особенно остро ощутил.

Итак, Бог проявляется через человека. Если рассуждать дальше по проторенной дорожке, то, следовательно, человек — образ, форма. Так и есть — «по образу и подобию», что означает не антропологию, а — по его Совершенству. Человек — форма, Бог — содержание, сущность.

29. Исходный пункт моих рассуждений:

Человек не сам явился в мир, он вызван непонятной силой. Какой? И для чего?

Вступив в мир, он знает, что должен его покинуть, умереть. Вопрос Бога.

Иван Карамазов (сам Достоевский) уклоняется от ответа: Бог ли создал человека или человек Бога?

В этом вопросе наука победила религию, доказав: человек — Бога.

Но глубочайший вопрос не в этом.

Вот его гениальная постановка:

Бог для человека
или
Человек для Бога?

Это величайшая истина человеческого существования.

(Более простая постановка, помнится, у Мережковского: Человечество в Боге или Бог в человечестве?)

Но если Бога создал человек, значит, Бог ему для чего-то нужен. Для чего?

Для того, чтобы оправдать свое существование, которое, в противном случае, становится бесцельным.

(Счастье сытой жизни — еще не цель. Распределение по потребностям ничего не изменит в природе человека.)

Бог нужен для того, чтобы преодолеть страх Ничто, страх уничтожения. Только Бог дает надежду, а не наука. Надежду вопреки здравому смыслу, и всё же...

Таким образом, религия разрешает все человеческие вопросы, но ее разрешение неудовлетворительно (для сегодняшнего человека).

30. Альтернатива: Бог для человека или человек для Бога?

До сих пор Бог был для человека. Он давал ему праведный путь жизни, был режиссером человеческой истории. После Страшного Суда Ему станет нечего делать.

Новая религия должна начинаться с утверждения: человек для Бога. Это рассудочная религия (с ортодоксальной точки зрения — губительная, протестантская).

Рассуждения:

Бог сотворил мир для человека.

Бог любит тварь.

Но после гибели твари Бог остается безработным. Смерть человечества — смерть Бога. Остается одна неподвижная вечность.

Значит, Вечность выше всего.

Такой Бог не нужен, Его изобрели люди (Бог для человека).

Мистики (Флоренский) говорят, что Бог даже смирился, самоунизился, что проявилось в сотворении мира, Он поставил рядом с собой самостоятельное бытие и дал ему свободу развития по своим законам, добровольно ограничив Самого Себя. Но самостоятельность твари предполагает ее нравственную ответственность перед Творцом.

«Бог для человека» пошел еще дальше — Он отложил образ Своей славы и принял образ твари, отдал миру Своего Сына.

«Бог для человека» — религия человеческого эгоизма.

Я иду дальше христианства.

31. Иногда мне хочется пасть на колени и долго, горячо, с восторгом и слезами молиться, но во мне вскипает гордость и я говорю себе: «Я человек! Я встречу кару стóя, я не унижусь перед неведомым, не стану вымаливать снисхождения! Я отрицаю Тебя!»

32. Стыдно молиться на всякий случай, «в запас». Современный человек молится, как некий сомневающийся немец: «Боже, если Ты есть, помилуй душу мою, если она у меня есть».

33. Церковь? Она существует для смерти человека. Не для живых, а для умирающих.

Церковные обряды, поклонение иконам — поклонение мертвым — поклонение смерти! (Иконы и возникли из культа умерших.)

34. Человек — нечто среднее между ангелом и тварью. А я хочу быть Богом! Хочу быть Богом!

35. Принимая Бога как допущение в доказательстве, я отказываюсь от Него. Мне не нужен рай, блаженство как отдых от неустанного, жадного стремления.

Мне не надо рая и блаженства!

Я хочу неутомимо познавать Бога, быть в становлении, не ставшим (т. е. умершим).

Я не признаю конечного.

Ад милее с его скрежетом зубовным, там есть жажда, есть подобие земных мук, есть стремление, нет конечного.

До чего же глупую сказку придумали люди сами же себе, своим стремлениям, отведя ад!

36. «Схимничество есть посвятить себя на молитву за весь мир».

Я и есть добровольный антитеистический монах, монах Бога-Ничто.

Мой высший подвиг — не служения Богу по проторенной дорожке — великого небывалого отрицания. Подвиг «не». Потому что служение было бы слабостью самообмана.

Я намерен пострадать за весь мир, вобрать в себя всю его боль, сконденсировать в себя весь ужас Ничто, чтобы люди его больше не знали.

Больше никому не будет больно, потому что я всю боль и страх принял на себя!

37. Я скрылся в себе, в тайне своего существования-уничтожения.

Единственное, что я еще могу — слушать музыку. В ней, только в ней скрыты величайшие прозрения. Иногда мне кажется, если высказать словами то, что она сказала звуками, всё станет понятно, загадка бытия разрешится. Но вслушиваясь, я с ужасом узнаю, что она толкает меня к земному. Поэтому я и музыке стал слушать реже.

(Ага, понимаю, в чем дело — она сулит счастье, а его нет. Жизнь не может быть счастьем, потому что есть смерть. До сих пор писатели и художники писали о жизни так, словно смерть в ней — малозначительный эпизод. Только музыка поняла что-то.)

Читать я не могу совсем.

Разговаривать с людьми — вызывает во мне отвращение. Какое счастье, что я могу жить один! Мне дико вообразить, что люди могут жить вместе, касаясь друг друга в холодном змеином клубке. Они живут в гробах — их дух убит.

Я понял, понял, почему ладан в церкви — чтобы не воняло людьми!

Мне даже покупать еду в магазинах противно — надо что-то говорить, объяснять — самое низкое, мелочное. Я покупаю еду надолго и потом несколько дней никуда не выхожу.

Писать мне тоже тяжело, тяжелее всего, но если я перестану писать, я сразу кончусь, не свершив своего призвания, поэтому я пишу, преодолевая неприязнь.

Почему не хочется видеть людей?

Моисей, говоривший с Богом, после этого не мог говорить с людьми.

Я заглянул в такие глубины (хотя бы пытался заглянуть), что всё человеческое стало мне мелко и мелочно.

Я увидел страшный лик Бога Смерти.

38. Я уже не могу слушать хорошей музыки, даже не особенно хорошей, такой, как эта, простенькая и лирическая, как девушка в легком белом платье. Она душит меня болью неосуществившегося. Музыка показывает, какое бывает счастье даже в этой короткой жизни, а я его не знаю, не видел и не увижу. Я не могу, не могу жить и слушать музыку!

Почему жизнь прошла мимо меня, почему я прошел мимо жизни?

«Ужасный век, ужасные сердца...»

А может быть, я всегда был бы такой?

Это еще ужаснее...

39. Я живу в полутьме, на окнах шторы, я ненавижу день, день в городе. Днем я не двигаюсь, размышляю, пишу. Вечер примиряет меня с городом. Летом вечерами я выхожу из своего логова, иногда гуляю, сижу где-нибудь под деревом или у воды. Тогда мне хорошо.

Я не знаю, есть ли более одинокий человек, чем я? Или еще: есть ли (была ли, будет ли?) эпоха, когда человек не был бы так одинок?!

Я вижу массы, они давят меня, уничтожают меня как личность. Они не дали мне стать великим человеком. Они никому не дадут, связав бытом, буднями, мелочами.

Нужен простор, человеку нужен простор! Гению — бесконечность!

Может ли Гёте родиться в ночлежке? Может ли Толстой жить в коммунальной квартире? Это — юмор, но я давно научился смеяться.

Может ли гений жить в современном городе?

Невыносимо, невыносимо!

Я хочу видеть небо, видеть деревья, видеть солнце, видеть Бога!

40. Если — да.

Если бы Бог был — это была бы слишком большая роскошь для человечества («Бог для человека»), невозможная радость.

Страх и отчаяние, что Бога нет.

Злость, с которой атеисты ниспровергают Бога, понятна. Их идея чисто негативна, они ничего не могут дать взамен. Только очень ограниченных людей может радовать, что Бога нет. Это — радоваться своей смерти. (Сказано: «Все, ненавидящие Меня, любят смерть»). Они бы хотели «Бога для человека», Который бы им всё дал, а Он ничего не дает, значит, Его нет. Их злость — обида утраты цельности духа, обида горбатого на природу.

Вся трагедия, космическая трагедия человечества в том, что Бога нет.

Как всё было бы хорошо и просто, если бы Он был!

Невозможность спасения, неизбежность впадения в грех (Достоевский).

Богословы говорят: есть нечто сильнее смерти — душа, поэты говорят: есть нечто сильнее смерти — любовь, атеисты говорят: есть нечто сильнее смерти — дела человеческие. Не одинаковый ли самообман всё это?

41. Бытие как благо.

Онтологическое доказательство бытия Божия.

А наоборот:

Бытие — не благо.

Бога нет, потому что нет (анти-онтологическое).

42. *Силлогизм Сократа.*

«Сократ человек. Человек смертен. Вывод...»

Ужас понят формально.

Это постулат ограниченный.

Или его опровергнуть, или человечество — ничто.

43. Человек в изоляции, вне традиции и преданий. Он может дойти до идеи Бога, но какого? Дойдет ли он до троичности? Нет, потому что нет человечества. Он сам — Христос. Смутное прозрение...

44. Мир как благо.

Мир как не-благо.

Бытие — не-благо как имеющее личный конец.

Бытие под страхом личного уничтожения не может быть благом.

Лучше не быть, чем быть.

И всё же лучше быть! быть даже со страхом ужаса и конца!

45. Две истины:

Бог есть и Бога нет. («Две правды» Достоевского.)

Можно их совместить?

Да, можно!

Бог есть	и	Бога нет
нет объективно		есть субъективно
(нет царя на троне)		(как высшие устремления,
т. е. нет сущности		совесть и пр.)
		есть существование

Такова современная вера: хочет верить и одновременно не верит.

46. Моралист-новатор.

Миллионер времени.

Каждый располагает миллионами единиц времени (секунд).
Каждый — богач. У каждого — своя маленькая бесконечность. У
Земли — своя, у человека — своя.

Но что это дает, кроме вывода, что надо дорожить минутами
и часами своей неповторимой жизни?

Единица времени не переживается, а конец неизбежен.

47. Процесс жизни.

Сколько смертей и рождений в минуту?

Наш каждый вздох есть чей-то последний вздох и чей-то
первый.

Подумайте над этим.

48. Для оправдания себя люди придумали существо выше
себя.

Ибо иначе бытие человеческое и Человечества бессмысленно.
Смысл — всегда по отношению к чему-то.

49. Почему это презрение к жизни христианства?

Не есть ли это глубокое до ужаса понимание того, что жизнь,
обрываема смертью, есть нечто ужасное, и ни одна радость в ней
— не в радость.

50. Почему я рожден человеком, а не Богом? — вот мой
страшный вопрос.

А может быть, мне это еще предстоит?

Христианство говорит, что все мы на том свете после Второго пришествия уподобимся Христу, т. е. станем богами.

Что-то здесь до конца не раскрыто...

51. Повышение срока жизни от амебы до человека и от человека к Богу.

У дикаря продолжительность жизни была 20 лет. Теперь — 70. Дальше может быть больше. И что же дальше? Какие есть пределы? Предел Бога?

52. Бог — смерть.

В Библии: нельзя увидеть Лица Божьего и остаться живым. Увидеть Божий Лик — проникнуть в непроницаемое.

Но когда я подхожу к краю пропасти и хочу кинуться в нее, я всякий раз останавливаюсь. Я хочу увидеть Лик и остаться живым, а это — малодушие.

Сегодня я задался целью увидеть Его Лик. Я — богоборец, выхожу на единоборство с Богом, как Иаков.

Для этого надо сесть в пустой комнате и ждать. Борение с Богом происходит во мне самом.

Я сижу в комнате при ярком, раздражающем электрическом свете и кощунствую: где Ты, Бог? Смотри, как люди отодвинули Тебя, мы все вместе и — никаких страхов, чем Ты еще запугаешь людей, ведь это Твой излюбленный прием. Что Ты можешь сделать мне? Ведь за мной наука, цивилизация. А своей смерти я не страшусь. Смерти...

Со мной был припадок. Я бросил в стену авторучку, как Лютер чернильницу (опошление темы!), катался по полу, бился до обморока...

53. Ха! Ты победил, Галилеянин!

Ты победил, старый, непобедимый Бог мертвых!

Ты уничтожен во всем и все же в одном победил меня — в страхе смерти!

Ты не Отец мне и всем нам! Вся Твоя эсхатология ни к чёрту не годится! К чёрту... Может быть, Ты и есть Он, Ты, Бог мертвых?

Может быть, Ты — спрятавшийся ассирийский злой божок (как его там звали?). Любишь ли Ты людей, Ты, отдавший на муки Своего собственного Сына? Ты, допустивший Дьявола и грехопадение? Ты, допустивший всё зло в мире?

В свете не было такого великого богохульника, как я!

Пусть боятся святоши — о, Ты, Бог страха, Ты силен, Ты сильно запугал этих несчастных!

Я бросил Тебе такое оскорбление, какого никто не кидал.

Но Ты, Бог страха, Ты сильнее меня, я знаю, Ты взял меня смертью. Я знаю, как Ты доконаешь меня: Ты убьешь меня страхом смерти. От этого страха еще никто не умирал, я умру, только я, величайший богохульник, заслужил это.

Добивай, добивай, я с остатком сил буду хулить Тебя...

Почему Ты замолчал? До сих пор я видел Твой злой лик... Ты обманываешь. Нет! Ты не добрый, не верю, не верю... Опять, опять находит это. Я не выдержу, я закричу... Проклинаю! Ты заставляешь меня в припадке ужаса кататься по полу, Твоя сила бросает меня, Ты — Дьявол, Ты — Дьявол, будь проклят...

...Как сердце бьется! Рано или поздно, но не выдержит. На этот раз Он бросил меня в окно головой. Я порезался, мои руки в крови. А-а! понял, я буду писать кровью! Впрочем, кровь быстро свертывается, а резать себе вены я не стану, всё равно Он доконает меня иначе. Какой-то шум за дверью, надо умыться и постараться изобразить из себя нормального человека.

Приходили, спрашивали, что случилось. Ничего, полез за книгой, поскользнулся. Успокоил. Но один не поверил. Я это понял по глазам. Он сам такой же. Но он не выдаст, сам такой же.

Я знаю, что я ненормальный, но я знаю, что я нормальнее прочих. Главное, чтоб не забрали. Возвращение к нормальности погубит меня. Что могут люди, кроме надругательства над себе подобными? Моя ненормальность естественна, она вызвана проникновением туда, куда никто не проникал. Люди туда не проникают, там — безумие, Ничто. За это познание платят жизнью. Я осмелился и поплатился.

Хочется куда-то уйти, тянет пространство. Но я боюсь, что люди испугаются, увидев меня, а, испугавшись, надругаются. А я еще молод, мне 33 года, возраст Христа, зрелость проповедника, и меня, когда я спокоен, прельщает внешняя пестрая оболочка жизни: солнце, смех, женщины. Инстинкт жизни пока сильнее воли к безумию. Я еще хочу жить, как люди. Хочу, но уже не могу.

54. Бог победил? Бог победил гордый человеческий разум?

То не Бог победил, то Смерть победила.

Бог — Смерть. Победил смертью.

Значит, правы апологеты: между триединым христианским Богом и умиранием в безумии третьего не дано? (Флоренский)

Нет, есть Истина выше Бога, выше Абсолюта! Но какая это истина? Ничто...

55. Ужас перед Ничто — ужас перед его непознаваемостью. Живому — живое. Невозможно представить, что тебя не будет, потому что ты знаешь одну эту реальность и не представляешь, что значит ее исчезновение (чувственно). Но когда в редкие мгновения мне удастся это представить, что тебя не будет и нет ничего, нет, словно и не было, тогда... это невозможно перенести...

Зачем мне этот страшный дар?!

56. Ужас уничтожения тебя.

Когда ты живешь, ты в неразрывности со всеми, близкими и неблизкими окружающими тебя людьми, и жизнь представляется закономерной непрерывностью, где на смену одним поколениям приходят другие и т. д.

Но ощути прерывность. Ощути, что исчезнет твой чувственный мир со всей памятью, со всем твоим восприятием, вдруг — Ничто!

А ты живешь во множестве приятных мелочей: с книгами, искусством, с семейством и всем прочим, и вдруг — жуткое Ничто, что был, что не был, и никакой надежды на возврат.

Ничто будет, Ничто, и всё, что здесь — ничего!

Ты обречен.

Я кричу. Я вскакиваю и бросаюсь неведомо куда, чтобы убежать от ужаса, пока не прихожу в себя и не продолжаю жить непонятной жизнью.

И я живу и радуюсь мелочам (от них не скроешься даже в затворе) и даже нахожу в них спасение от безумия, но вдруг оно находит снова и толкает и ставит перед жутью Ничто, бесконечным Ничто, безотрадным Ничто.

Что делать, как спастись? Помогите, помогите!

Нет никому до этого дела, а ведь каждый из нас погибнет, каждого поглотит Ничто.

О, Боже! Я устал, я измучен страхом, вечным ужасом Ничто! Где сон, где мои чувства? Я изнемогаю, я сам рвусь к Ничто, я падаю, катаюсь в отчаянии, кричу!

Ужас! Ужас!

Ничто! Ничто!

57. Смерть — дурная бесконечность.

58. Тому, кто познал ужас небытия, уже ничто не мило: никакие радости жизни, никакие человеческие удовольствия. Ни звезды, ни клейкие листочки — ему больно смотреть в лицо мира, всё становится мелко (Гильгамеш, Звездный ужас).

Это прозрение во что-то иное, необычное, неземное.

Но приходит исцеление, и земное вновь обнимает со всеми своими мелочами.

Быть может, в этом ужасе — прозрение Бога, а в обыденно-приятном — князь мира сего. Для анахоретов так оно и было, оттого они и бежали.

59. Мысль, что жизнь существует на то, чтобы отклонить человека от его пути —

от избранного,
предначертанного.

В общем плане: жизнь на то, чтобы отклонить человека от Бога (соблазны и пр.).

Аскетическая точка зрения.

60. Смерть как расплата за жизнь, за все ее блага и радости, за сладость бытия.

61. *Мой крик:*

— Научи мя оправданием Твоим!

Но это же из панихиды, над мертвым: «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим».

Значит, мне не надо оправдания!

Вот свет радости: «Живущий прав!» (Шиллер)

62. *Выписки из Нового Завета.*

«Рабство тления» — слова апостола Павла.

«...в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тления в свободу славы детей Божиих». Рим. 8, 20-21.

Так и хочется поверить старому Боженьке!

«...мы — дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу»... Там же, 16-17.

Вот настоящая глубина мысли!

«Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих...» Там же, 19.

Тезис творчества — «человек сам».

63. Утопающий хватается за соломинку.

Моя соломинка — Бог.

Хожу по церквам, ищу Бога.

Порой во время службы меня подмывает сделать что-нибудь ужасное; кошунственное.

Я даже готовил великий вызов Богу мертвых, я должен был, как Лютер, огласить его в церкви. Но кого я там увидел — жалких старушек. Они смешны мне. Но иногда я думаю, что в этих старушках — совесть земли русской.

64. «Божий грех».

Миф о грехопадении. Грехопадение чье? Почему Бог допустил в рай Дьявола? Откуда Дьявол взялся — он возник вместе с Богом? Он был всегда? Значит, он был необходим? Значит, это была божественная воля? Значит, Сам допустил искушение и грех?

Значит, грех не на человеке, а на Боге!!!

Бог не любит тварь! Он изгнал человека из рая, отдал его смерти. Он — Бог греха и смерти!

Грех-дьявол-смерть.

Бог допустил грех.

Бог искусил человека.

Зная всё наперед, послал испытание и грех.

Значит, Он хотел смерти.

Значит, Он — Дьявол!

Не на человеке грех, а на Боге!

Здесь — немыслимая свобода.

Вот мой великий вызов!

65. Догмат спасения.

(Этот догмат разбит Достоевским — жертва Христа ничего не дала людям, не сделала их счастливей, но это — аспект только человеческого, а есть и трансцендентный.)

Смерть Христа не сделала людей бессмертными.

(Вот в чем дело, вот почему Его жертва напрасна!)

Смерть Его не попрала смерти (допуская Его личное Воскресение, смерть осталась).

Искупив грехи, Христос оправдал людей.

Т. е. их оправдал Бог в лице Сына Своего.

Т. е. Бог испытал угрызения совести перед адамовым племенем и искупил Своей «божий грех» кровью Своего Сына.

Но кровь напрасна — бессмертия нет. Бог обманул.

Во всем этом странная неувязка — от «Бытия» до «Откровения».

Итог — мир Богу не удался.

Остается покончить с Ним и создать новое небо и новую землю.

Брахманизм, вечное возвращение.

«Библия» — роман с несчастливым концом.

Но нет книги величественнее Библии. Произведение самого гениального писателя бледно в сравнении с ней. Библия — само человечество.

66. А вдруг?

Вдруг есть жизнь души? Я проснулся среди ночи в темноте, в жуткой пустоте, и внезапно ощутил это. Это было саморастворение во всем. Душа летает над всем, все обнимает и тоскует. Я почувствовал сладость во всем, страстное желание остаться так всегда, как вдруг что-то ужасное схватило меня и начало трясти. Я закричал и потерял сознание. Теперь я знаю, что это было, это была эпилепсия, которую я нажил. Какой там Бог, я просто психически больной человек! Но я не могу расстаться со своими озарениями. Это и есть болезнь?

67. Болезнь. Болезнь Ничто.

Ощущение себя живым трупом, в котором копошатся черви. Я — неудачник.

Не повезло тем, что родился.

И тем, что умру.

68. Ужасающее открытие.

Величайшая апокалипсическая символика: Второе пришествие и есть смерть!

Ибо Первое — рождение.

Человека дважды посещает Бог: в начале и в конце. Он дважды бывает Богом.

Библия — не только жизнь человечества, но и жизнь человеческая.

Ветхий Завет — это наша грешная жизнь.

Новый Завет требует покаяния перед смертью и сулит смерть.

Смерть и есть Страшный Суд над каждым.

О, злой Бог!

Бог для человека переходит в

Бога против человека!

Новый смысл христианских символов: каждый человек имеет свое Сретение, идет своим Крестным путем.

Новый грандиозный смысл моления о чаше.

Это человеческое моление о бессмертии!

Но смерть неизбежна.

Лишь в духе, в передаче накопленного, человек побеждает смерть.

Какой-то странный намек в Воскресении...

69. А может быть, вся моя разгадка в том, что не было Сретения?

Не приносили младенца в храм!

Не было искупительной жертвы.

Эпоха отчуждала, век отлучал.

Не было Сретения, не было на мне благодати.

Было черное Сретение, и черная моя благодать.

70. Вот в чем дело: забыто Сретение!

71. *Смысл жертвы:*

Для того, чтобы что-то утвердилось, должна быть принесена жертва искупительная.

Смутное понимание этого у древних.

Жертва Христа.

Жертвы во имя науки.

Жертвы во имя революций.

Принесение себя в жертву, чтобы утвердить Истину («Въезд в Иерусалим»).

Ацтеки были более последовательны, возведя это в закон.

В этом величие и героизм.

Суть героики в жертвенности.

Может быть, это и есть Каиново проклятие? Каин-то нужен!

Ужас и несовершенство.

И однако — путь к Совершенству.

72. *Гениальная догадка:*

Человек с Богом — только мертвый! (Почил в Бозе.) Человек живой — против Бога! Дерзко! Творчеством своим, соперничеством.

73. PRO

Вера в чудеса. (Художественный аспект.)

Непорочное зачатие, рождение без осквернения — невероятное явление для разума, вплоть до насмешки, вполне художественно убедительно. Есть грани в искусстве, которых не преступают, их отстраняют как несущественное. Достаточно сказать — явился и всё. Никакой художник не станет изображать натуральное зачатие и роды. Физиологическая сторона устраняется из искусства, словно ее нет. Таким образом, в искусстве уже само зачатие непорочно и рождение неоскверненно. Они даже в самой прозаической прозе изображены как чудо. Просто мы их допускаем как ставшее, отвергая низменность становления. Всё очень просто.

Прежде чем отвергнуть, надо произнести защитительную речь религии. Она осмеяна нашим материальным веком, ибо понята слишком земно.

Как понимали ад и рай? Как продолжение земного бытия. Ясно, что инобытие не может быть повторением знакомого бытия. Нельзя составить понятие на основе земных представлений. Это и Христос сказал, что воскресшие люди не женятся и не выходят замуж.

Те же ошибки в натуральном понимании чудес. В каждую эпоху их смысл меняется, но само чудо, как невозможное человеку, но вполне представимое деяние, остается. Например, хождение по водам, имевшее для средневекового человека конкретный смысл, для нас имеет смысл символический, говорящий о преодолении духом материи.

Внешне наивные библейские картины сотворения мира говорят о необходимости допущения творческой воли в мир, о целесообразности, причинности и вероятности, что лежат в основах науки.

Чудо и факт. Разделение на возможности, достижимые человеком, и возможности недостижимые. Они недостижимы, но *мы о них знаем*. Таково великое чудо бессмертия, воскресения. Мы о нем знаем, его желаем и говорим о невозможности его достичь (пока). Понять бессмертие легко, продолжив земную жизнь до бесконечности, но так ли нужна эта бесконечность (другой вопрос «дурная бесконечность». Бесконечная жизнь и смерть одинаково — дурная бесконечность. Оба разных уравнения приводят к одинаковому результату), поэтому важна бесконечность души, бытие духа — так понимается бессмертие. Оно невозможно, но как известное оно — чудо, и в него надо верить. То есть эмпири-

ческий опыт говорит о недостижимости, но раз *мы знаем*, то этим фактом уже утверждается достижимость как *чудо*.

Таким образом, *ни одно наше предположение не беспричинно*.

Осуществление того, что художественно и что мы называем фантазией, и есть чудо.

То есть чудом становится сама наша земная жизнь, само бытие, ибо оно тоже построено в мире невозможного.

Например, чудо перехода от неорганической материи к органической не меньше, а, пожалуй, большее, чем от органической материи к живой.

Отсюда полная достоверность чуда и полная совместимость с ним разума.

74. (Незавершенная мысль.)

Оправдание человека в образе Иисуса.

Рождение человека оправдывается догматом непорочного зачатия и чудесного Рождества. Оно свято.

Сын человеческий. Это каждый из нас.

Бог бесконечен, безлик, Сын личен — в нем связь Бога с человеком...

75. Иисус воскрешал других, избавлял от страданий, но Сам себя обрек. Других воскрешал, а Сам не воскрес.

Это был первый исторический подвиг самопожертвования. Высшее отречение во имя любви не к отдельному лицу, а любви всеобщей.

76. Невыносимо жить, если Он не воскрес.

Невозможно, жизнь — пытка, приговоренный к смерти цепляется за жалкие крохи бытия, и в этом жалкость нашей культуры.

А Он не воскрес!

77. Христа понимали пассивно.

Ждали, пока Он придет и все воскреснут.

Нет, сами! Нет, надо самим придти. Иначе и быть не может.

78. Сегодняшний *конечный* человек.

Прежде даже дикарь жил с ощущением бесконечной жизни. Взор египетских статуй устремлен в бесконечность. Человек жил для бесконечности, для Бога.

И вот парадокс: расширяя границы познания бесконечного,

человек отвергает это бесконечное и принимает мир как нечто конечное.

79. *«Memento mori».*

Древний человек не забывал, что он смертен. Так возникли все религии. «Memento mori». Христианство всё строится на осознании бренности мира. («Смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу». — «Поучение Мономаха».) Разве так может сказать современный человек? Насколько мы легкомысленнее! (Опьяненные научными достижениями.)

80. *И все-таки...*

Надежда.

Мысль:

Коль до рождения, что после смерти,
Жизнь человека лишь только мгновенье,
Только отрезок в каких-то пределах,
Только луч солнца в надзвездных уделах,
То возникает вопрос, для чего?..

Если понимать жизнь как отрезок, совершенно бессмысленный во временах, безразличный ко времени, то да, жизнь бессмысленна, без начала и конца.

Но раз человек пришел и жил и что-то дал, оставил по себе, то уже не бессмысленна.

Раз пришел — уже не бессмысленна!

Он ничего не унес с собой, но что-то оставил, независимо от того, бессмертна его душа или нет.

Время уже не бессмысленно, бытие уже не бессмысленно.

81. *Для чего всё?*

Наука, литература и всё прочее.

Для чего письменность? (В узком смысле литература.)

И ответ — для совершенствования.

Литература — это молитвы о человеческом совершенствовании.

А совершенствование для чего? (Будем как боги!)

Для осуществления конечной цели — обретения рая (высшего, бесконечного блаженства), т. е. для достижения бессмертия.

Таким образом, человек на земле проходит искуc через поколения стать достойным Бога, стать Богом!

Этому служит и Библия и вся письменность.

Религия и литература.

Необходим синтез.

82. Всё для совершенства.

Христианство не как данное, а как развитие, совершенство человечества.

Достигшее совершенства человечество — уже не нужно.

Не достигшее (в таком случае, как неудача) — оно тоже не нужно.

?

83. *Против Екклесиаста.*

«Что пользы работающему от того, над чем он трудится?»
Екк. 3, 9.

Я отвечаю: совершенство.

Стать равным с Богом — цель человечества.

Это есть последнее воплощение,

последняя тайна

и конец мира.

Значит, не сейчас конец, не атомный апокалипсис, а много дальше.

Забота об учении — любовь, любовь же — хранение законов ее, а соблюдение законов — залог бессмертия.

А бессмертие приближает к Богу.

Достижение бессмертия приближает к Богу (как процесс).
Достичь бессмертия для человечества — стать равным с Богом (как ставшее).

Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка.

Нет, рассудок порождает страх!

84. У Достоевского Иван Карамазов принимал Бога, но Мир Божий не принимал.

Я принимаю Мир со всем его несовершенством и стремлением к совершенству, но не принимаю Бога Смерти.

Иван говорил, что верит в Бога прямо и просто.

Я говорю, что современному человеку нельзя верить в Бога прямо и просто. Разум не дает, наука не дает.

85. Достоевский для критики Бога избирает мораль. Он принимает Бога прямо и просто (Иван, хотя сам автор — не прямо и не просто), но мира, созданного Им, в котором царствует страдание, не принимает.

Я беру основу основ для критики: нельзя принимать Бога и Его мир, раз существует смерть. Это глубже, это касается основ бытия.

Я согласен принять Бога во всем: и что Его хвалит всякое дыхание, и что в дни благоденствия, весной, когда всё — жизнь и цветение, хочется возносить хвалы неведомому Творцу. Но рядом с этим земным раем существует могильный ужас небытия. Какая бы несчастная ни была земная жизнь — это рай; ад — это небытие, смерть. Христианство нас обманывало, суля рай после смерти, греки были более мужественны — они считали, что светлый рай — на земле, а потом — темный Тартар. Единственное, что дало христианство, это надежду на воскресение, на новую землю и новое небо.

Таким образом, верить в христианство — это прежде всего верить в воскресение. Если отвергать, это будет саддукейство.

Надо сказать, основы для такой веры весьма шатки. (Нам ведь всё по-научному надо, по здравому смыслу!)

Христос пришел на землю страдать (удел человеческий) и был распят, Он — само страдание, трудно представить Его в образе Царя Славы.

Говорят, если воскрес один (опровергнуть силлогизм Сократа), то есть надежда у всех (Мережковский). Но в первых трех Евангелиях о воскресении говорится смутно. Даже говорится, что иные полагали, что это ученики похитили тело Иисуса.

Иисус был, да, Он был Христос. Он был распят, но Он не воскрес! Вот в чем весь ужас!

Ужасно, что всё это иллюзия!

Если природа безлика, стихийна, без Бога, то с законом смерти можно смириться («и пусть у гробового входа... и равнодушная природа...»). Но если есть Бог, Разум, Любовь, то с законом смерти смириться нельзя (Федоров называл его законом умерщвления). Этот закон создан Богом, Бог отдает человека на уничтожение, отдает человека Дьяволу.

Но — человек сам!

Он сам победит Бога и возьмет Его право жизни и смерти, он достигнет бессмертия и станет Богом!

86. И всё же я, задавленный страхом смерти, говорю:

— Не бойтесь жить! Жить, хоть умрете! Жизнь может быть прекрасна. Но ужасно то, что она ни к чему не относима, что ничего нет ни до, ни после, что нет памяти, бесконечности. Когда я ощущаю это, я в пустоте, я в отчаянии, я падаю на пол и кричу

в ужасе, и плачу. Если бы верить... если бы просто верить... но вера в наше время — малодушие, самообман. Какой-то Бог есть, и какого-то Бога нет, какая-то вечная жизнь есть, и какой-то нет. Нет вечной жизни наших мыслей и чувств, нет вечной жизни личности, есть вечная жизнь какого-то всемирного тоскующего духа. Вот что мне предлагают. Зачем мне эта срединность, посредственность?

87. «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Матф. V, 48.

Здесь всё сказано — о совершенствовании и о равенстве с Богом, к чему следует стремиться. Цель человечества указана, только ее не поняли, святоши мешали.

Ничего, я еще скажу свою Нагорную проповедь!

88. Антигуманизм — гуманизм.

Гуманизм ведет человечество к вырождению, к плодовитости кроликов и лягушек.

Людей стало слишком много, они мешают друг другу жить. Их негде расселить, их нечем прокормить. Марксисты игнорировали народонаселенность. Всё это чушь (примат экономического). Ни один из факторов не является решающим, он лишь преобладает в свое время. В XIX веке таким был экономический фактор, абсолютизированный Марксом. В эпоху зарождения цивилизации — фактор географический (колыбель культуры не у эскимосов). Теперь же — перенаселенность. Сама по себе многочисленность не так плоха (работа многих, прогресс тоже нужен, значительно толкнув вперед общечеловеческую работу — работу спасения, по Федорову), но не перенаселенность, посредственная избыточность.

Перенаселенность губит поэзию мира. (Пока перенаселенность еще можно терпеть, скоро станет невозможно — будет резня.) Аксиома, что у человечества есть цели более высокие, чем животная плодовитость и счастье большинства. Важно то, что создают Рафаэли.

Неизбежность великой катастрофы и желание ее.

Всё это так, но при чем тут Бог?

Непонятно, ведь это не искупление, это одичание и отчаяние.

При чем здесь 2000 лет христианской эры?

Жалко не людей, а мир как Божье творение. А людей Бог обидел, людей Он предал, и в этом христианство «не удалось».

89. Какие у людей испуганные глаза!

90. Человечество — Само!

Гениальное откровение.

Человечество должно достичь Нового неба и Новой земли само.

Страшный Суд — само.

Полная свобода твари, и в ней — своя Божественная Воля.

Всё само, как конечная цель развития — обретение бессмертия.

91. Я боюсь смерти.

В наш век (особенно в нашем обществе) снята проблема смерти.

Жуткое легкомыслие или дьяволический умысел. А может быть, столь низка цена жизни одного существа в эпоху мировых войн и массовых репрессий, что смерть стала пустяком для каждого?

Здесь есть дьяволизм, т. к. препятствует созиданию и ведет к разъединению. Ведь общность бессмертна (коллективно). А надо и личное.

Вслед за Федоровым я говорю: человечество имеет одну единственную цель, которой всё служит — достижение бессмертия.

(Сейчас этого не поймут, это же антинаучно! А зачем пессимистическая наука, нужна веселая!)

Каждый живет так, словно будет жить вечно и умирать ему не придется. О, человеческое легкомыслие! Они, как дети, полагают, что будут жить всегда, и беспокоиться не о чем. Смерть, косящая людей рядом, их не касается. Они живут, живут и умрут неожиданно для себя.

А я умираю сознательно, умираю наяву! Кому лучше?

92. Вы-то чего радуетесь?

Вы-то чему смеетесь?

Будто вам не придется помирать!

93. Рождение бессознательно. Смерть сознательна, т. е. мы знаем, что умрем, но не знаем, что родимся.

Христианство сосредоточивает упор на этом последнем моменте жизни.

Всё не так. Держава жизни в моих руках, в Его руках — дер-

жава смерти. Я могу распорядиться своей жизнью и тем посрамить Его, это будет своеволие (интересно, как к тому же приходит Достоевский). В жизни я сильнее Бога, но Он сильнее меня в смерти.

94. Диалектика Бога.

Неужели взгляд Его на человека не изменился со времен Адама и Евы?

Тут начинаешь постигать необходимость изумительной метафизики.

Понятие Бога развивается вместе с человечеством.

Чем человек чувствует себя сильнее, тем менее ему нужен Бог. (Но это только горделивое чувство.)

Фактом смерти Бог остается сильнее человека.

Значит, человек заблуждается в своем всемогуществе.

Но может ли современный человек поверить в Бога?

Весь ужас в том, что нет.

95. «Бог, смерти не создавший», так, кажется?

Нет, Бог, смерть создавший!

96. Смерть как вечное блаженство. (У дикарей умерший переходит в страну вечного блаженства. У христиан говорят: «переселился в лучший мир».)

97. Вечность.

Вечность можно понять не как бесконечное время, а как отрицание времени, противоположность времени — не-время. (А это и есть смерть.)

Здесь скрыта великая тайна, восходящая к загадке жизни и смерти.

98. Бытие и Не-Бытие.

Это ли Бог с отрицательным знаком?

Переставим знаки.

Бытие станет с отрицательным знаком по сравнению с положительным Не-Бытием, Богом.

Теперь понятно, почему Бытие несовершенно, а Не-Бытие, Бог, совершенен.

99. Воздаяние.

Продолжение земного бытия, где за добро будет добро, за зло зло.

В это не верит уже Достоевский. Он говорит, что слезы ребенка остались не отомщены, и поэтому отказывается от гармонии, от Бога. Рай и ад он в расчет не берет, это годилось для людей I века.

Добро и зло в высшем, метафизическом плане не имеют смысла, здесь возможна только Истина, Цель Человечества.

100. Раб Божий или Сын Божий?

Когда я в страхе, в отчаянии — я раб.

Когда дерзаю, когда отрицаю Самого Бога — я Сын Божий!

101. «Царство Божие внутри нас». А Бог?

102. «Совершенная любовь побеждает страх». А я никого не люблю.

103. Ему-то что! Он говорил о лилиях...

104. Как крот, я лезу к свету, к свету, и вот вылез и должен увидеть свет, но — слеп...

105. *Отчаяние.*

Глядя на небо, мне хочется кричать в отчаянии.

Как я ничтожен, мал, ненужен!

Ведь всё уничтожается, и сами звезды уничтожатся через миллиарды лет.

Что же постоянного в мире, для чего — мы, люди, культура, наши ценности, сам я?

Это ужасно, ужасно!

Бог, неужели Бог?!

Зная это, пережив это, что мне работа, слава, дела, будничное, историческое — о, как всё ничтожно мало, будь я самым великим из великих!

106. *Божье проклятие.*

Греховность твари. (Тезис.)

Греховность уже тем, что ты пришел в мир.

«Зачаты в беззаконии, родимся в грехе» («Алфавит»).

Виновность твари (виновность без вины).

Виноват тем, что родился. Уже согрешил.

Праведник и тот едва спасается. А где — обычному, грешному?

Бог зла.

Проклятие рождения.

Человек приходит проклятым.

Человек не нужен в мире.

Человек нежелателен Богу.

Богу желательна душа.

Бог любит мертвых.

Он — Бог мертвых.

Бог благ. (Антитезис).

Бог-Отец.

Сыновность твари.

Смерть как последнее зло в мире, побеждаемое в Боге.

Сын искупил грех человеческий.

Человек не для гибели, а для спасения.

Не для греха, а для совершенства.

Гигантская мысль: быть может, Бог заставил самого человека познать всё и победить смерть? Великая тайна!

Бог не как образ, а Бог как достижение. (Это будет Богочеловечество.)

Так встретятся Конец и Начало.

Бог как Начало и Конец.

Мир выполнит свое в Абсолюте и тем прейдет.

Абсолютная полнота означает Конец. (Абсолютное счастье, абсолютный восторг.)

Синтез: Божье проклятие ведет к совершенству.

107. Бог в человеке.

Богосыновство человека.

Гипотеза: Господь создал нас для прославления Его (Бл. Августин). Он же: «Бог создал человека без его согласия, но спасет его не без его согласия».

На земле мы томимся, пока не успокоимся в Боге (Бог-Ничто Майстера Экхарта).

Св. Серафим Саровский: «Стяжавший совершенную любовь к Богу существует в жизни сей так, как если бы не существовал».

Доказательство Бога тем, что ты существуешь и без Него не мог бы существовать (онтологическое).

Но какое дело Богу именно до тебя? Слишком много у Него сынов!

Зачем ты как личность, именно ты?

Как понять факт твоего появления в Боге?

В чем твоя желательность Богу?

Ведь есть души явно нежеланные. Зачем они? Кому они, в таком случае, обязаны своим бытием?

Или Бог их вводит в мир для искушения, для смещения добра и зла? Что мы, марионетки?

Как понимать будущее соарствие со Христом? Небесная республика? Ха-ха!

108. Христос? Как же Он явится мне, если я в Него не верю?

Если не верю, то не явится. (Не будет того света?)

А что будет? Только то, что мы себе пожелаем? Во что верим?

109. *Человек — сам.*

Ответное творческое слово твари Творцу.

Человек есть прибыльное откровение твари в Творце (Бердяев).

Но если человек сам, самостоятельно, то он Антихрист, противопоставлен Творцу.

Человек — Антихрист!

Пришествие Утешителя — не свыше, а из недр человеческого сознания.

Мистики. В герметических книгах написано: «Человек есть смертный Бог, и Бог есть бессмертный человек».

Человек еще не Бог, но будет Богом?

Яков Бёме: «Бог должен стать человеком, человек — Богом, небо должно стать единым с землей, земля должна стать небом».

Для человека удел — бесконечное познание себя и вселенной.

Раз человек сам — он против Бога. Человечество — коллективный Антихрист!

Я — Антихрист, он во всех нас, мы все несем в себе Антихриста. Вот в чем ужас! Нам примирения с Богом нет.

110. Бог смерти. По Евангелию — это дьявол.

«...дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола.

И избавить тех, которые от страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабству» (К Евреем, 2, 14-15).

Я принял на себя вечное страдание мира, весь ужас смерти, личного уничтожения. Я один готов отдать себя за всех.

Но уже был Тот, Кто отдал Себя за всех. Значит, я — Анти-

христ? Нет, я не верю Ему! Значит, Его не было, раз осталась боль, ужас, раз еще кому-то надо принести себя в жертву. Я готов пострадать за людей, и за что меня называть Антихристом? Пусть, пусть, да, я — Антихрист! Я черный, я восстал против Бога смерти, я готов погибнуть. О, боль моя!

111. Недостаточность старых конечных начал в старой вере, христианстве.

Время выдвигает требования нового объяснения конечного.

Старое конечное оказывается недостаточным, границы простираются. Не только физически: Бог и Вселенная, Человек и Вселенная. Исторически: человек для чего?

112. Человеческое совершенство как достижение совершенства Божьего. Таким образом, конечная цель — бессмертие. Тогда действительно история окончилась, времени больше не существует.

В сущности, каждая религия разрешает проблемы смерти и бессмертия и строится на невозможности их разрешения.

Человек не может примириться со смертью, он верит в свое высшее предназначение.

В конце концов все пути человечества едины, и, отрицая, он утверждает.

Всё идет к общему, всё сливается — и религия и наука.

Но великое противоречие:

Человечество не может быть бессмертным, имея историю.

Бесконечность, бессмертие — отсутствие истории, отсутствие исторической памяти. (По Федорову: история как работа спасения.)

112. Я понял христианство как гениальную мечту о бессмертии.

Оно, христианство, есть чудо в этом жестоком мире ненависти. Мною доказано, что всякое чудо достижимо.

Это отправная точка понимания. Отсюда я начинаю свой разбор и вижу, что направление человечества, при всей его розни, едино и что это и есть высшее, Божественное.

113. Когда я думаю о Возрождении, мне хочется дышать — так бывает, когда тебя обдаёт свежий утренний воздух, чувствуешь молодые силы, подъём, жизнерадостность. Это — возрожде-

ние, это — молодость. Тогда мне хочется погрузиться в его историю, искусство, жить в эпохе.

А наше русское прошлое? Как оно блекнет и скудеет! Там нечем дышать, там ничего нет — одни иконы, мрачные лица, беды. Ничего весёлого, торжествующего, жизнерадостного. Когда я думаю о родном прошлом, мне горло схватывает. Скажут: а современность? А в современности все мы дышать разучились.

114. Вот в чем разгадка русской духовности, нашего презрения к быту, материальному, столь высокое уважение интеллектуального труда (писателя, художника и пр.) в ущерб даже труду ученого, техника:

наш русский жизненный идеал — святой.

(Святость означает совершенствование и накопление духовных ценностей при пренебрежении к материальным. На Руси богатство склонялось перед святостью и внутренне чувствовало себя перед ним виновным. Неудачник на Руси не был презираем, это было определённое мироощущение.)

В западных странах идеал был в сфере гражданственности — в рыцарстве, в бюргерстве.

(Рыцарство есть присвоение, захват добычи. Добиться успеха, возвыситься при соблюдении известного кодекса чести. Там неудачник — человек, проигравший в жизненной борьбе, отброс. Бедность там переживается особенно болезненно, это — позор, проклятие, чем у нас она никогда не была. У нас отношение к бедности — евангельское. А бюргерство — это вообще посредственность, отсутствие истории.)

У нас не было рыцарства. У нас было подвижничество, даже там, где должно было быть рыцарство. (Невский, Донской — святые.)

Отсюда все «бездны», отсюда «достоевщина».

Вот почему у нас духовный аристократизм стоял и стоит выше наследственного.

115. Аскетизм, монашеская жертва — будто бы бесплодно, тщетно, бесполезно, подвиг обращен ни к чему, никому ничего не дает, а на этих подвигах, на этих жертвах держался весь духовный строй средневековой жизни.

Молчалиники, столпники, схимники, вериги, черви на ранах, жажда болезни, уничтожение себя — это всё образцы величия духовного, которые постоянно напоминали людям о бренном и горнем.

116. Я не верю, но я не атеист.

Я верующий, объятый неверием, по натуре верующий, по складу своей души, внутренне религиозный — родился так, но ум выше натуры.

Я пророк без Бога.

А может быть, я напишу Третий Завет?

Мне 33 года, и напишу. Вот бред!

Я — дитя эпохи. Эпохи неверия и подспудной религиозной жизни. Лишь сейчас, в нашу эпоху, под угрозой всеобщей гибели, бытие снова становится религиозным.

117. Тайна Третьего Завета, неосуществленная Троица:

Бог	Сын	Дух
Природа	Человек	?

118. — Потому что Христос не воскрес!

(Что это, черная Пасха?)

Не случайно эра наша — с рождения Христа, а не с воскресения Его, как должно бы быть.

Если бы эра начиналась с Воскресения, это было бы жутко сладостно, таинственно, это был бы восторг, экстаз.

Но нет — с Рождества!

Почему, почему?

Он родился, но не воскрес!

Не воскрес и не вознесся!

Вот ужас! Проклятие над нами!

Но еще не всё, еще не всё...

А может быть, так: наша эра — Рождества Христова, а эра Воскресения еще будет? Эра Воскресения и есть «новое небо и новая земля». На это глухо намекают некоторые наши философы: Федоров, отчасти Бердяев. Тайное видение или фантазия?

119. Нет, не будет для вас Воскресения! Ибо злы и не принимаете друг друга. (А надо «общее дело», по Федорову.)

120. Всё это я напустил на себя.

Нет ничего! Нет ничего!

Ни причин, ни следствий.

Мир бессмыслен, мы придаем ему смысл.

Нельзя верить. Наука не дает. Разум не дает.

Верить вопреки разуму. Верить!

Но в кого?

121. Отрицать Бога то же, что отрицать смерть.

Это детское нежелание знать о конце, наслаждаться здоровьем, привольем.

Потому святые говорят о болезни, что она дает почувствовать ужас конца и, следовательно, Бога.

Ребенку кажется, что он всесилен (все исполнит впереди, в жизни) и будет жить вечно, т. е. всегда.

Еще раз повторю: мы оттого так не страшимся смерти, что не можем, нам не дано (Бог бережет!) представить, что нас самих не будет. Но если тебе удастся проникнуть, ощутить, будет отчаяние, которое отравит всё, и не захочется смотреть на мир и радоваться его радостям — всё отравлено.

122. «Про и контра».

Не таков ли ход мысли Достоевского?

Сначала он утверждает: Бог есть.

И доказывает, что всё зло мира несовместимо с приятием Бога — возвращает ему билет.

Атеизм на этом и останавливается.

Но Достоевский глубже. Его мучит последняя разгадка.

Она мучительна:

— Если Бога нет, то что есть?

Так он снова приходит к утверждению Бога, к «Осанне» как к единственной возможности утверждения бытия.

123. Ты как носитель человечества.

Помни, что ты гораздо старше своего возраста: это твой возраст плюс возраст человечества.

Человечество складывается из множества «ты».

Гибель тебя — гибель целого мира «ты».

Ты — как часть человечества, и поэтому думаешь, что не для того человек рождается, чтобы думать о смерти.

(Но есть новаторы, подвижники, обрекшие себя.)

124. Нет ничего ужаснее сознания своей брэнности, обреченности. Ты — пожизненно приговоренный к смерти.

А может быть, не смерть страшна, а невозможность вернуть молодость?

125. Не просто оставить мир.

Оставить себя.

(А вернуться к себе — воскреснуть.)

Оставить себя — быть для других, за других (Христос).

Лишиться себя самого — путь к Богу, путь к смерти.

Для мистиков (Майстер Экхарт) смерть есть уничтожение отдельного ограниченного «я» и слияние его с всеобщим «Я» Божественным. Познавший это уже мертв.

126. Ах, как просто жить как все живут! Как трудно жить, не живя!

127. «Познай самого себя». Разложение этой формулы. Ни к чему — познание себя. Познание себя ведет к ужасу Ничто.

128. *Проклятие.*

— Это Ты, Ты, Бог, отдал меня, сына Своего, во власть смерти! Ты! Я проклинаю Тебя! Я не молю Тебя о чаше, я выбиваю её из Твоих рук. Я не хочу, не хочу Тебя, т. е. смерти! О ужас!

129. *Преображение.*

Это делается так: нужно лечь на три дня, чтобы жизненные силы покинули тело и в него вернулся вновь преображенный дух.

130. — Хочу быть Богом!

Ты и будешь Богом, потому что тебя ждет ничто. Ведь Бог — Ничто.

131. Людей не страшит небытие, потому что нельзя знать, что это такое. Ничто не переживается (Витгенштейн).

Новое понятие Божественности.

Бог не личный, не в образе, без антропоморфных свойств. Бог остается как Ничто и таким образом Всё. Сознательная и не-сознательная природа. Живая и неживая. Бог остается загадкой Бытия.

Конечный религиозный порыв существует. Он не в том, чтобы сделать людей сытыми и беспечными (идеал скотов), ведь всё равно они смертны, и пока есть смерть, не будет полного блаженства. (Религия не нужна только людям, забывшим о смертном часе.)

Он в том, чтобы сделать людей бессмертными всеми возможными путями, т. е. тем самым стать богами. (Мистики: Бог стал человеком и человек должен стать Богом.) Это и есть величайшее откровение существования человечества.

Или:

Цель бытия — Ничто.

Цель — Бог.

— Или — Что.

132. Почему никто не болеет тем, чем я?

Почему ни в ком нет того ужаса, что во мне?

133. Философия ценностей. (Человек сам.)

Накопление ценностей — это и есть дело человечества. Ибо каждый что-то оставляет после себя, какой-то кирпичик кладет, разрушает, созидает, но ценностей создается всё больше, и они ведут к совершенству. Высшее совершенство есть бессмертие.

Но еще единицы думали об этом. Эту идею миру дали мы, русские. Федоров — едва ли не первый и единственный. Для большинства ученых это ненаучно. Им неведом ужас смерти.

Страх смерти Гоголя.

Достоевский преодолевал его православной апологетикой.

Толстой создавал новую веру.

Я не одинок! Я передаю вам свой страх и завещаю победить смерть!

Люди будущего! Через тысячу! Через две, три, четыре, десять! Люди будущего! Победите смерть!

В древности люди понимали ужас смерти. Им пронизан эпос о Гильгамеше, сказания греков о Тартаре, наконец гениальное откровение христианства, победившее смерть воображением. Сейчас люди забыли этот страх: на свете слишком много живых, число рождений превышает смертность.

Но единственная абсолютная цель — бессмертие. Сейчас она кажется неосуществимой, но научно бессмысленное оказывается научно достижимым. Любая человеческая фантазия обладает способностью сбываться. (Так же алхимия — шарлатанство в XVIII веке ныне становится реальностью в ядерных котлах.)

Но пока эта цель еще не осознана человечеством и долго еще будет не осознана. Люди больше думают о том, как уничтожить друг друга.

Если людей спросить: «нужно ли вам бессмертие?», то большинство ответит: нам и так хорошо.

Чувство бытия здорового человека таково, будто он будет жить вечно. Это — животность: пока живо — весело, а от мертвого — шерсть дыбом и в кусты, испугается — и снова весело.

Вот слова, достойные Человека:

«Побеждайте время, дни злы!» (Апостол Павел.*)

134. Христос-Антихрист.

В наши дни понимаешь подвиг Христа — одного за всех, одного для всех.

Христос убоялся смерти. Он покончил жизнь самоубийством! (Пусть пассивно.) Жизнь под страхом смерти — нестерпима, отсюда — жажда самоубийства, но не сам (это — грех), а чужими руками.

Христос — самоубийца!

Я жажду повторить Его подвиг.

Я жажду распятия.

Подите, распните меня! Распните, и смерти не будет!

Готовиться к своему Крестному пути и Вознесению (вся человеческая жизнь такова). У меня свои Страсти, своя Голгофа и т. д. (жуткая аналогия, черная аналогия).

135. Религия нашего времени — атеизм. Здесь, видимо, тоже возможны секты (на базе политических учений).

Антирелигия.

Религия «нет».

«Бог есть» — «Бога нет».

«Чудо есть» — «Чуда нет».

«Христос» — «Антихрист».

«Евангелие нет», Черное Евангелие от Антихриста.

136. Лишившись Бога, человек обеднел.

Отказавшись, — просто, страшно и бедно.

137. О, я завидую вам, будущим бессмертным!

Зависть эта ужасна, но отчего-то она неполна — во мне скывается природа с ее законом завершимости.

Порой я принимаю смерть как естественный закон и успокаиваюсь — ведь не сейчас же... что об этом думать... И даже признаю необходимость этого закона, даже (ужас!) радуюсь ему. Но снова подходит страх небытия, страх потери личности, и я готов кричать.

*) См. сноску в начале главы НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ. — Р е д.

Мы, люди, все живем в человечестве, все живем гораздо теснее, чем думаем, все участвуем в процессе жизни (даже выключившись из него, как сделал я).

Я тоже думал, как Розанов, записавший (в трамвае): «Неужели все эти люди умрут? Какой ужас!»

Нет, толпа бессмертна. Жизнь идет, кипит. Все так же ходят по улицам люди, полные сил, почти не видно старости, болезней. Меняются люди, здания, техника, а толпа движется, суетится, радуется, скорбит, живет текучей повседневностью. Кому-то стало худо, он забился в нору, его свезли в больницу, на кладбище. А толпа всё так же бодрa и жизнерадостна, выпадение отдельного члена ей незаметно. Это всё идут здоровые, бодрствующие люди, какими есть или был каждый из нас. Все люди смертны, но в массе людской эта истина теряется. Человечество — не толпа лязгающих скелетов. Для нас это — художественная неправда. Средневековые понимало это как правду. (Икона. У Дюрера — красавица перед зеркалом, в зеркале — череп.) И ты чувствуешь себя бессмертным, пока сливаешься с человечеством (в толпе, в науке, в искусстве, в разной деятельности), и даже смерти не боишься — на миру и смерть красна.

138. Самое ужасное — обреченность жизни, уничтожимость личного бытия. Жизнь теряет ценность, когда чувствуешь себя ее хрупким носителем, подверженным каждое мгновение уничтожению.

Вполне понятно, почему люди отдают всю жизнь науке, искусству — потому что человек хочет оставить что-то по себе, утвердиться во времени, ибо дело человеческое долговечнее, чем сам человек. Они знают, что дела их тленны: в общей бесконечности космического времени деяния самого гениального гения — незамечаемая пылинка, обреченная на исчезновение, ибо нет ничего вечного. И всё же люди стремятся к вечному, готовы терпеть ради этого любые муки, жертвуют ради этого единственно реальным, чем они обладают, — жизнью.

139. В человеке есть от времени и от вечности.

Временное — то низменное, среди чего я живу, принужден жить. Вечное — то, что остается от меня, отразится в других, пусть это будет величина бесконечно малая у большинства людей и определенная целая величина у гениев.

В этом суть развития человечества. Человек как $f(x)$, Человечество как $F(X)$. Всё слагается в некую совокупность.

140. Молитва Иоанна Златоуста, потрясшая меня:

— Господи, аще хочу, аще не хочу, спаси мя.

141. Нельзя увидеть Лик Бога и остаться живым.

Мне казалось, что я *почти* увидел Его, но я жив и, значит, не видел.

Конец мой — не трагедия, он мелок и пошел, как современная жизнь. Я ничем не лучше всех, так же существую, не зная, зачем, не зная своего конца.

142. — Где же ваша личность?

(Не имеющий личности, не имеет любви.)

143. Почему люди не сходят с ума при мысли о смерти? И я не сошел (пока). Мгновенная ценность жизни спасает?

144. *Изумительное богословие Виктора Вельского (его пункты):*

Бог-есть и Бог-нет.

Бытие и Не-Бытие.

Бог — Ничто.

Бог для Себя и Бог для человека.

Человек-Христос и Человек-Антихрист, поскольку

Человек — Сам.

Совершенство как направление его деятельности.

Наука бессмертия.

145. Беречь мысль!

Надо беречь мысль!

Берегите мысль!

(Иначе не будете, как боги, не обретете бессмертия. Будьте благи. Будьте, как боги!)

146. В защиту христианства.

Отрицать христианство, отрицать двухтысячелетний опыт выхода за пределы реального, обыденного мира — предельно глупо, по-обезьяньи глупо. (Надо бы и о пресловутом «рациональном зерне» вспомнить, но Маркс был слишком саддукеем и призывал «зерно» только в идеалистической философии. Какое убожество! Хуже средневековья! Или еще — «жизнь есть форма существования белковых тел». Только-то? До чего наивно! Жизнь, прежде всего, есть чудо, а смерть — тайна.)

147. Сколько тысяч лет живет человечество (считая с Гомера — 3 тысячи, с Египта — 6 тысяч, от библейского сотворения мира что-то около 7 с половиной тысяч лет), а до сих пор человечество не знает своей конечной цели. (Жить лучше — только временная цель.) До сих пор мы не знаем, зачем пришли в мир, обрываемый смертью, даже самые гениальные из нас не знают. Все иллюзии (как христианство и его антипод, черная религия — коммунизм) рассчитаны на несбыточное, но и жизнь только для сегодняшнего мгновения — неизменно бедна, недостаточна. В этом промежутке мы мечемся.

Федоров нашел человечеству «общее дело». Вслед за ним я говорю о своей Науке бессмертия.

148. Культура, искусство, литература, наука — как заклятие смерти (магия современного человека).

(Аспект: культура для обмана. Чтобы отвлечь людей от борьбы со смертью. Люди ее изобрели, чтобы им не было так страшно жить, спасаясь идеей преемственности поколений, бессмертия имен и пр. Но всё равно, так или иначе, всё в мире служит «общему делу».)

На художественные, культурные, научные ценности нельзя смотреть как на абсолютные. Абсолют — только Божественное, Бессмертное.

149. Всё в тебе.

Весь мир в тебе. (В тебе он себя обнаруживает.)

Это надо особенным образом прочувствовать.

150. О *материнском лоне*.

Человек боится вечности, она ужасает его (Тартар, скрежет зубовный), и он прячется от ужаса в суету дел, в теплое человеческое лоно. Но когда он перерезает пуповину, он остается наедине с Бесконечностью, с Богом. Это — высший героизм, по сравнению с которым мелок обычный плутарховский героизм.

Человеческое лоно приятно, красиво (в своих частях), даже поэтично. В нем тысяча радостей, они воспеты поэтами, художниками — природа, любовь, радости бытия.

И вдруг — холодная пустота, Ничто.

151. Дело всё в том, что всякая идея выше человека, стоит над человеком. Именно этим и объясняется самопожертвование. Ради идеи человек отдает жизнь. Скажи даже захудалому писа-

телю: или тебе смерть или твоим книгам. Что он выберет? Так и моя Истина.

152. Пока есть жажда познания — будет человек на Земле. Исчерпав ее, дойдя до абсолютной истины (бессмертия), он станет Богом и тогда растворится в Ничто, во всемирный Закон и Всеомущество. (Тайна невысказанная.)

153. Прогресс религиозного постижения мира.
Необходимость над-религии, сверх-откровения.

154. Большинство людей не доросло ни до религии, ни до атеизма.

Атеизм требует от человека большего напряжения, чем религия. Он требует крайнего ожесточения, крайнего отрицания, крайнего нежелания жить в вечности. Всё это не под силу среднему уму. А низших просто дурачат: раз, мол, наши спутники летали в небе и не обнаружили Бога, то Его нет. Как будто Бог — это дедушка, который сидит на облаке в какой-то определенной точке Вселенной. Стоит только подумать о бесконечности Неба и сразу охватывает «звездный ужас».

155. Если в природе существует закон сохранения вещества и энергии, то можно допустить, что духовная энергия, душа, сохраняется и существует в других формах. Крайне несправедливо, что живая материя, породив дух, допускает его исчезновение, превращение в ничто. Здесь что-то не так.

156. Я знаю, что мое откровение гениально, и если оно станет известно людям, мне поставят памятник, меня обожествят как пророка Мухаммеда.

Как всякое великое открытие, его сделал профан в этой области. Я не философ и не богослов, но я дерзнул! Я отбросил силлогизмы и антиномии, догматы и критику. Я презрел пределы разуму, установленные Кантом. Я совершил акт религиозного творчества, такой свободы, которая выше своеволия. Я велик, я божественен! Я служу «в духе и в истине».

157. Вот загадка, которую предоставляю решить вам, будущим:

есть ли Ничто — ограничение или безграничность?

Св. Максим Исповедник считал, что «ничто есть ограниче-

ние, ибо оно имеет бытие благодаря тому, что оно есть ничто из существующего».

Но ничто есть несуществующее, то, что не имеет бытия, поэтому оно безгранично. Но ведь бытие и небытие существуют рядом, по сути, это синонимы. Бытие — живая жизнь, небытие, если так выразиться, мертвая жизнь. Бытие — жизнь, разум. Небытие — природа, но ведь и она имеет бытие. Получается дурная тавтология вместо истины. Всё потому, что я слишком материалистично мыслю. А может, это святой загнул: у него — ничто, т. е. небытие имеет бытие. Но нет, он мудр! Он придумал нечто вроде великой теоремы Ферма. Попробуй, докажи!

Если познать бытие ничто, то проблема бессмертия была бы решена. А! понял! Хотите скажу вам формулу бессмертия?

Нет, решите сами!

158. Я понял, для чего живет человечество как грандиозный эксперимент Бога или Природы — для достижения бессмертия, но я еще не понял, для чего живет отдельный человек и что означает его бесконечно малая величина во вселенском интегрировании? Только ли бесконечно малую величину в движении к совершенству (или снова — Бог? Личность) объяснять через Бога?

Понял! Всё просто.

Человек — Христос.

Человек должен повторить путь Христа.

Отсюда — его право на Евангелие.

Мое право.

159. *Вот мое Откровение.*

Вместе с человечеством возникла мечта о бессмертии. Человек не мирился со смертью и преодолевал ее в иллюзии бессмертия. Каждая религия являлась выражением этой мечты. Каждая религия говорит о потустороннем мире. Он разный — горестный и радостный (горестный у язычников, радостный у христиан, мусульман). Индуисты говорят о вечности души, которая всегда пребывает в мире и никогда не исчезает. Душа во всех религиях вечна. Действительно, раз человек есть преодоление тварного мира, то он не должен уничтожаться смертью. Своим бытием он отрицает смерть. *Человек есть отрицание смерти.* Даже материализм признает вечность человека в его делах. Успокаивать себя мечтой о личном бессмертии — малодушие. Но в этой мысли есть глубина. Рационально ее надо понимать так: Человек должен завоевать бессмертие. Выше этой цели у него ничего нет.

Я обосновываю единственную великую Науку бессмертия!

160. Вот пути постижения Бога современным человеком.

Бесконечность Вселенной, ничтожность Земли в Космосе и случайность зарождения жизни, появления личного начала в Космосе.

1) Атеисты готовы считать первые полеты в Космосе (не в Космосе даже, а вокруг Земли) отрицанием Бога. Как будто Бог имеет небесные координаты! Но и на ракете, вылетев в любую сторону, мы не достигнем «конца» неба. Она будет лететь и лететь, пока не распадется. (Хотя полет со скоростью света, по теории Эйнштейна, должен, кажется, вернуть ее в точку отправления.) Здесь — непостижимая тайна, которая всегда ужасает меня. Конечным человеческим чувствам не понять бесконечного. Так где же Бог в этой бесконечности и не есть ли Он — Сама Бесконечность? Бесконечность, не постижимая земными чувствами.

2) Земля — песчинка в Космосе. Кажется, Энгельс назвал ее «исчезающей точкой». Земля — одно из подчиненных небесных тел, планета вокруг одного из Солнц. Появление на ней органической жизни является чудом. Ученых этот факт приводит в трепет — настолько он ограничен температурными условиями, настолько это противоречит всему холодному мирозданию, подчиненному закону энтропии.

3) И наконец чудо — само возникновение разума. Органическая жизнь возможна и без разума. (Обязательно ли приводит ее развитие к зарождению разумного существа?) Человек познает Космос и свое отношение к нему. Как ни мала, как ни ничтожна Земля, Мироздание уже не бездушно, раз где-то есть Существо, наделенное душой и разумом. (Значит, у Мироздания уже есть Бог? Вот прозрение!) И этот факт бесконечно выше всей небесной механики и закона энтропии. Это есть проявление личного начала в Космосе (Богосыновство?). Человек не противоположен Космосу, он его часть. Отношение Космоса к Человеку есть Христос. (А отношение человека к Космосу? Ну, конечно, Богосыновство!) Бесконечное проявляется в конечном — вот что такое человек! Бог и Человек врозь невозможны. Между ними должна быть связь. Христос и есть выражение этой связи.

(Но человек не может быть Богом, потому что конечное не может проявиться в бесконечном, поэтому бессмысленны земные «религии» человекобожия. Лишь достигнув бесконечного, допуская такую возможность, человек становится Богом.)

161. Пророчество.

Будет атомная война и еще, еще страшнее.

Но это еще не всё.

Это еще не последний день.

Много раз будет казаться, что вот — последний день, но он так и не наступит.

Он наступит чудовищно иначе.

Человечество еще будет, и оно не может уйти, не осуществив свою цель, которую я определяю как Науку бессмертия.

162. Знаю, что многие мои мысли имеют предтеч, но не страшусь говорить их внове.

Я сказал, что с гибелью человека исчезает целый мир, и, например, Гейне говорил, что вселенная родится и умирает в каждом человеке, что под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история.

Но я первый, кто увидел цель пессимизма и указал выход из отчаяния.

163. Они пришли. Они погасят меня в ничтожестве. Враги — родные Сыну Человеческому. «И враги человеку домашние его».

Моя мать. Я отвык от нее. Она представляется мне ничтожеством. Я скрываю сам от себя, что ее ненавижу. Ведь это живое существо, из которого я вышел на свет, ее часть. Отрицая ее, я отрицаю свою жизнь. Отказываясь от матери, я отказываюсь от жизни. Не в этом ли источник моей трагедии?

Но нет, мне нет родства, как нет духовного родства. Я знаю, иные скажут про меня — «наш», «свой», но чтобы поймать и закабалить меня своей пошлостью. Нет, меня не обманешь.

Их болезнь — мое здоровье. Их здоровье — моя болезнь. Они сочтут меня больным, хотя я здоров. Их здоровье — пошлость и мелочность, ничтожество, а я болен духовными поисками. Для них я сумасшедший, человек, умышленно расшатавший свое здоровье, на самом деле я провидец.

164. Уйти в сумерки и гаснуть, гаснуть...

А как же мое Вознесение?

165. Зачем я отдал себя на заклятие? Кто поймет? Кто оценит? Не бессмысленно ли это, как бессмысленны все жертвы?

Одиночество... Всю жизнь одиночество...

Оно душит меня. Оно лежит на мне, давит тяжестью могильного камня.

Сил нет... бросить и бежать.

Куда?

Но темница моя, пустыня моя...

Как тяжело! Эта тяжесть съедает меня. Не по плечам мне эта ноша.

Вырваться к свету, к свободе! Самому стать Светом!

Но нет ничего.

Ничего.

Но кто?

К людям я не хочу, а что другое?

Кто спасет?

Я изнемогаю.

Я больше не могу.

Куда? Куда?

Никто не поможет.

Я сам у себя под арестом.

Деться некуда.

Я гибну.

166. Неужели, неужели есть еще какая-то правда?!

167. Что-то мешает, что-то мешает мне думать... Это Он, Он!

Бог!

А может быть, я Бога спутал с Чёртом?

168. «...Духом пламенейте...» (Рим. XII, 11.) А я объят пламенем! Я сгорел!

169. Какие-то смутные прозрения: Бог-Ничто и Бог-Нечто...

170. Итак, повторяю, только смерть зависит от человека, в его «руце».

Что следует?

Нет, нет, только не это!

171. Да, да, современный человек утратил богобоязнь, заменив ее смертобоязнью.

172. Это ужас! Я в Бога не верю, а живу и думаю так, как будто бы верю!

Я поставил на себе грандиозный эксперимент и доказал, что современный человек, даже желая верить, не может верить.

173. «Отец и Я одно».

Т. е. Человек и Бог одно.

Следовательно, я — Бог! (Только я в Бога не верю!)

174. Мысль Плотина, что для того, чтобы сделаться прекрасным и божественным, надо достичь созерцания божества.

Чтобы понять Божество, надо самим стать божественными, носить отблеск, иначе воспринять невозможно. Мы воспринимаем. Мы божественны. Все пути в Рим. Все доказательства, что Человек — Бог. Я — Бог!

175. Посмотри, Господи, на слезы мои!

Как плачу я и ежеминутно распинаюсь.

Посмотри, как страдает Сын Твой, которого Ты отдал во власть смерти!

Что же Ты не придешь ко мне, что ж Ты не успокоишь душу мою?!

176. Преодолеть всё.

Преодолеть косность бытия.

Воспарить.

Отрешиться от тела и весь сосредоточиться в духе.

Я уже постигал сверхъестественное. Однажды я больной в полузабытье лежал, а душа моя вышла за пределы меня и касалась предметов в комнате, хотя я не мог подняться.

Есть какое-то чудо в человеке, в которое мы, при нашем рационализме, не хотим поверить. Передача мыслей и пр.

Нужны лишь чрезвычайные, необычные усилия, чтобы преодолеть косность материи. Это достигается отрешением и глубочайшим внутренним сосредоточением. Только так, собрав душу в одну точку, можно преодолеть и воспарить. Дематериализация возможна. Принципиально допустима. Можно творить чудеса. Нужно только сверхобычное напряжение. Творческое напряжение. То, которое в сфере деятельности называют талантом, а в сфере отрешенности — святостью.

Так возможно мое Вознесение.

177. Я еще вернусь, вернусь!

НАД КРЫШАМИ

Поэма

Рвануться и вымахнуть

Над крышами рыжими дымными черепичными крышами
над суетой что гнездится под этими крышами
над нищими духом и над богатыми нищими
над бывшими над настоящими дальними ближними
над биржами над пивными копчеными днищами
над пьющими над оплеванными над плюющими
над бьющими бывших любимых

над клянущимися клянущими

рвануться и вымахнуть
любою ценой но только
откусить от голубого яблока неба

Нет Флоренция
видно и о твой воздух не опереться крылами
можно дышать но невозможно взлететь
твой воздух некогда густой
разбавлен криками газетчиков
клаксонами автомобилей гитарами
плохими копиями Боттичелли шепотом гадалок
бессмысленными взмахами регулировщика
кинорекламами анонимками
и прочими невидимками оставляющими яркие следы
как краденые поцелуи

Еще можно дышать но невозможно взлететь

Тяжело машут во мне
легкие — мои внутренние крылья

Эта поэма получена редакцией из России, где она распространяется в списках. Некоторые стихи Петра Вегина были опубликованы в журнале «Москва» № 4/1965 и № 6/1967. — Р е д.

Черные монахи
спешат схоронить заколотое ржавым ножом солнце

Жарко крылья обвисли
голодными близнецами тащутся по мостовой
на них наступают модные каблуки

Сотни вывесок «Удаление зубов»
ни одной
«Удаление крыльев»

Горбатый антиквар на перекрестке
продает пару старых дуэльных пистолетов
они лежат валетом красивые символы смерти
в округлом футляре красного бархата
как рыбы в кровавой проруби

Купить
и вызвать на дуэль из зеркала
собственное отражение

Ножницы женских ног переходящие улицу
отрезают меня от моих миражей

Разноцветное мороженое
продается на выбор как мнения в Парламенте

Можно дышать но невозможно взлететь

Город уходит под крыши
как рыба уходит под воду

Дай поцелую лапу
пятнистая дворняга моей надежды
иди в поводьри к кому-нибудь другому

Выпьем Флоренция
на помин крыльев моих
за упокой близнецов моих умирающих с голоду
сегодня двери кафе — как двери в рай

Вина девушка вина
чистого как чистота всего несбывшегося
крепкого как опора которой нет
вина глоток вина
из красивой бутылки что у вас за спиной

ЧТО У ВАС ЗА СПИНОЙ?

Должно быть от жары я спятил
предсмертный бред
я перегнулся через стойку схватил
сияющий за ее спиной
мираж

И в тусклых зеркалах крыльев моих
отразилось
искаженное болью лицо

«Оделась ангелом вчера на карнавал
домой вернулась хрупкий нимб сняла
но только не снимаются крыла
весь день хожу стыдясь людей зеркал

Отрезать думала — ступила пять ножей
как ледяная веточка зимой
в стакане распускается листвою
вросло в меня мое папье-маше...»

Дрожь прошла по моим крылам
как по спасенным самоубийцам
дрожь первого вдоха
и мы сшибая бутылки
под звон погребальный рюмок
вылетели на улицу

Взмах в четыре крыла
но нелегко оторваться
когда карнавальный город
пытается заарканить или просто поймать за ногу

Медленно медленно медленно
ритм взлета подобен ритму
созревания оливкового дерева

Маски кричат из окон четвертого этажа

Под нами мчится машина как
городская мышь

Не опали крылья о фейерверк Любимая
Медленно медленно медленно

И вот мы уже выше крыш

О имя твое волшебное
как крылья тебя заждались
вместо кольца обручального
над городом сделаем круг

Спят в твоих бедрах дети
которые не родились
и нашей крылатой спаренной тенью
зачеркнут мир крыш

Над крышами рыжими дымными черепичными крышами
над суетой что гнездится под этими крышами
над нищими духом и над богатыми нищими
над бывшими над настоящими дальними ближними
над биржами над пивными копчеными днищами
над пьющими над оплеванными над плюющими
над бьющими бывших любимых

над клянущимися клянущими

О как трепещут в паутине улиц
неопытные мотыльки людей

Прощай пустая гробница Данта
в церкви Санта Кроче

Нас не боятся птицы
значит небо нам доверяет

Я смел бы утверждать что птицы
это отраженья людей
в потолочном зеркале неба

крестьянство воробьев
монашество грачей
дворянство орлов
и отраженья дворовых псов
летучие мыши

Но кто из птиц сумеет повторить
судьбу проплывающей слева под нами
женщины

Пятьдесят лет
она глядит из окна на дорогу
по которой ушел на Первую Мировую войну
тот кто к ней никогда не вернется

«Завтра вернется завтра»
этому шёпоту пятьдесят лет

Ну кто из птиц сумеет повторить

Слышишь где-то внизу колокола
о страшное счастье полета
вокруг невесомо парят воздушные замки
они никогда не опустятся к тем
кто их строил
воздушных замков великие города
скоро в небе от них будет тесно

Словно древняя чаша вина
Рим под нами искрится
и в мертвой карусели Колизея
как непрощенные души рабов преступников блудниц
фосфоресцируют коты и кошки
и с перебитым хвостом кот по имени Дуче
что нещадно измучен виденьем мышей
беззвучно взывает к прошлому
и его гигантская черная тень
лежит на римском асфальте как
поверженный герб

Спать

Из подсолнухов стадионов
вылуцились семечки людей

Спать

Немытая нога фашизма
пытается натянуть сапожок Италии

Спать

Пистолет Африки
болтается на боку Земли

Спать

Веретено подводной лодки
в глубине Средиземного моря
свивает нить смерти

Спать

Самое большое наслаждение сегодня — спать
самое большое преступление сегодня — спать
последний раз в жизни
разрешаю тебе Любимая спать как спят
на земле
потому что нам выпали бубны бессонницы
потому что небо нам доверило землю
и прокричать опасность
в ушные раковины городов
больше некому

Спи последний раз как спят на земле

В мире не жгут свечей
спи на моем плече
скрипка со скрипачом
так же родны́ с плечом

Как гнездо для грача
как у Руси — купола

мне — твоя голова
тебе — два моих плеча

В мире не жгут свечей
спи на моем плече
как по концам креста
спали ладони Христа

Спи на моем плече
в мире похоже тишь
мир понимает — спишь
ты на моем плече

Телеантенн тополя
вытянув к облаку
мчится под нами Земля
с пистолетом Африки на боку

О воздух вдоль твоего длинного тела
о прядь волос на ветру
любовь воздушный змей
запущенный в небо мальчиком по имени Случай

Уже так высоко что голуби мира под нами

Мы летим быстрее
чем летит птица стрéлок по кругу часов
вылетаем из ночи проснись
настигая день уходящий

Города горы границы

Пастухи так далеки
что кажутся библейскими

На одном ветру развеваются пеленки
Моцарта и Сальери

Как Святой Себастьян
пронзена стрелами радиоактивного дождя
Испания

Смотри нам кисточкой машет художник
и щурит свои синие цыганские глаза
и отпечаток нас летящих над крышами
остаётся у него на холсте

Здравствуйте Марк Захарович

О дудочка крысолова
в руках у Эйфелевой башни
зови зови своих железных крыс

Крысы автомобилей
Крысы метрополитена
Крысы пушек
Крысы снарядов
Крысы миноносцев

Океан

Радиограммы Европы и Америки
как перелетные птицы над океаном
затонувшие триста лет назад
фрегаты набитые золотом
виднеются на глубине
если бы подводные лодки охотились за ними
я был бы спокоен за землю и за тебя

Как я не люблю эти новые буквы
в древней письменности морей

Птицы устав от полета садятся
на палубу авианосца
и летчики забывают о своих
реактивных распахнутых крыльях

Наше время отличается ото всех
прежде всего тем
что ни в одно море
не брошена бутылка с запиской о беде

На волнах Житейского моря
беспомощно и одиноко

качаются люди как бутылки в которых
запечатан крик

Америка видна сквозь облака

Она похожа сверху на песочные часы
но города Америки шахматные доски
белые играют против черных

О время
отложи белые телефонные трубки белых
похожие на дорогих любовниц

О время
негра прижми к виску как черную трубку
и пойми его красные губы

Любимая дальше не стоит снижаться
тех кто над крышами
крыши не любят

Заметили уже засекли тычат пальцами

Крыши Лос Анжелеса под нами
как переплеты детективных романов

Крыши и крысы
крыши и крылья
крыши и Кеннеди
крыши и кровь

Кеннеди в спину нам ли вдогонку
так или иначе но
в нас промахнулись — попали в него
в него промахнулись — попали в нас

Восьмая пуля
проскочив мимо его виска
уже охлаждаясь о синеву
прожгла наше спаренное тело

Падаем падаем падаем падаем падаем
Кеннеди Кеннеди Кеннеди Кеннеди Кеннеди

падаем падаем падаем падаем падаем
падает Кеннеди

Всегда есть в кого разрядить пистолет
тех кто над крышами крыши не любят

Хочу простить земле и не могу

Любимая простим друг друга и простимся
целую кровь на крыльях твоих
спасибо Флоренции
за карнавал окрыливший тебя
за страшное счастье полета
во весь размах простреленных траурных крыльев
прощай

И если судьба захотела прервать наш полет
отбросим возможность спланировать
приземлиться
Любимая стоит разбиться за то что летали
разбиться о крыши и крыши собою разбить

На крыши где капельки крови твоей и моей на крыши
на суету что гнездится под этими крышами
на нищих на бывших на настоящих
на дальних и ближних
на биржи на пивные копченые днища
на пьющих на оплеванных на плюющих
на бьющих бывших любимых
на клянущихся на клянущих

Прощальное небо
корявые крыши все ближе

.

И все же мы были Любимая слышишь
над крышами

ЯЩИКИ

Пьеса в пяти частях для балагана

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

БЕЛКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, библиотечный работник, лет 35.

1-й ГРУЗЧИК.

2-й ГРУЗЧИК, немая роль.

АННА ИВАННА, соседка, лет 30.

СЕРГЕЙ ИВАНЫЧ, ее муж, лет 30.

ВЕРА ИВАННА, соседка, лет 40.

СИГИЗМУНД ИВАНЫЧ, сосед, лет 50.

МАРТЫН ИВАНЫЧ, комендант дома, лет 60.

СТЕПАН, дворник.

СЕКРЕТАРЬ Ивана Алексеевича.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, председатель, немая роль.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Скромно обставленная комната, шкаф, стол, книжные полки, два стула, тумбочка, диван. На диване спит БЕЛКИН. В дверь стучат, это четыре равномерных удара, довольно медленных. Белкин не реагирует. Удары повторяются, на этот раз сильнее, но так же равномерно.

Белкин поднимает голову.

Б е л к и н. Кто там?

Вместо ответа четыре удара, еще более сильные, но такие же равномерные, не быстрее и не медленнее.

Муза Константиновна Павлова (род. в 1917 г.) — поэт, переводчик и автор одноактных пьес и сатирических миниатюр. Многие из них идут в театрах и передаются по телевидению в России, Польше и Чехословакии. Пьеса «Ящики» публикуется впервые. — Р е д.

Сейчас, сейчас!.. *(Спускает голые ноги с дивана, ищет ногами тапочки, находит, идет к дверям.)*

Удары повторяются, на этот раз со страшной силой, кажется, что стучат кованой подошвой. Белкин поворачивает ключ, открывает дверь. На пороге стоит ГРУЗЧИК с ящиком в руках, по-видимому, довольно тяжелым, так как грузчик сильно прогнулся назад, уперев ящик в живот. Он молча входит в комнату, так что стоящему на пороге Белкину приходится отступить назад, чтобы пропустить его.

Что это? Посылка?..

Грузчик, не отвечая, проходит на середину комнаты, с шумом бросает ящик на пол.

Это, наверно, не ко мне. Вы ошиблись. Я не жду никакой посылки.

Грузчик *(некоторое время стоит, уставясь на Белкина тусклым невидящим взглядом, потом неторопливо вынимает из кармана свернутую бумажку, разворачивает, смотрит на нее)*. Это дом четырнадцать?

Белкин. Да, дом четырнадцать.

Грузчик. Квартира два?

Белкин. Квартира два. Фамилия моя Белкин.

Грузчик *(некоторое время стоит молча, разглядывая бумажку)*. Адрес правильный. *(Прячет бумажку в карман. Молча идет к дверям.)*

Белкин *(идет вслед за ним)*. Но послушайте... я вам говорю, это какое-то недоразумение!

Грузчик, не обращая внимания на Белкина, открывает дверь, чтобы выйти, но на пороге стоит 2-й ГРУЗЧИК с точно таким же ящиком и в точно такой же позе, как 1-й грузчик.

Как... еще один?

1-й ГРУЗЧИК молча пропускает 2-го грузчика, выходит. 2-й грузчик вносит в комнату ящик, с шумом бросает его рядом с первым ящиком.

Это ошибка! Перепутали адрес!

2-й грузчик, не отвечая, угрюмо смотрит некоторое время на Белкина, точно не понимает, что он сказал, потом неторопливо поворачивается и идет к дверям. Открывает их. На пороге стоит 1-й ГРУЗЧИК с точно таким же ящиком.

Еще... Да сколько же их?..

2-й ГРУЗЧИК молча пропускает 1-го грузчика, выходит. 1-й грузчик входит в комнату, бросает ящик рядом с первыми двумя, хочет идти.

Но это ошибка! Уверяю вас, это не ко мне!

Грузчик молча смотрит на Белкина ничего не выражающим взглядом.

Вы ошиблись!.. Вы делаете двойную работу... вам придется все это отсюда уносить.

1-й грузчик (*сонным голосом*). Это дом четырнадцать?

Белкин. Да, дом четырнадцать, но это еще ничего не значит! Все равно это ошибка, уверяю вас!

Дверь распахивается, входит 2-й ГРУЗЧИК с ящиком. 1-й грузчик дает ему дорогу, направляется к двери.

Вместо того, чтобы сначала выяснить, а потом таскать эти тяжести... говорю вам, что вам придется все это уносить!

2-й грузчик молча бросает ящик на пол рядом с первыми тремя. Направляется к двери.

1-й грузчик (*в дверях пропуская 2-го грузчика*). Это квартира два?

Белкин (*теряя терпение*). Да, да, да, квартира два, адрес правильный, и все-таки это ошибка!

1-й ГРУЗЧИК, не отвечая, поворачивается спиной, выходит.

Вот дурацкая история! (*Разглядывает ящики.*) Ничего написано...

Входит 2-й ГРУЗЧИК с ящиком. Бросает его рядом с другими.

Еще один!.. Да сколько же их? Вы мне всё загородили... к шкафу не подойти!..

2-й грузчик, не отвечая, идет к дверям, открывает их. На пороге стоит 1-й ГРУЗЧИК с ящиком. 2-й ГРУЗЧИК пропускает его, выходит. 1-й грузчик проходит в комнату, бросает ящик на пол, на свободное место.

Что же вы загородили весь проход?.. Так же нельзя...

1-й грузчик с сонным видом молча слушает Белкина. В дверях показывается 2-й ГРУЗЧИК с ящиком.

Ставьте их по крайней мере один на другой...

1-й грузчик показывает жестом 2-му грузчику, тот бросает ящик на ящик. ОБА ГРУЗЧИКА не спеша выходят.

Что за чертовщина! Ничего не понимаю... (*Разглядывает ящики.*)
Никаких пометок...

Входит 1-й ГРУЗЧИК с ящиком.

Еще?..

1-й грузчик хочет бросить ящик на один из ящиков.

Туда, туда, к стене... Проход не загораживайте.

1-й грузчик бросает ящик к стене. Входит 2-й ГРУЗЧИК с ящиком. 1-й грузчик показывает жестом 2-му грузчику, чтобы он поставил свой ящик к стене. 2-й грузчик бросает ящик на ящик. ОБА ГРУЗЧИКА выходят.

Бывает же такая ерунда! Кто-то напутает, и вот вам, пожалуйста... Жди теперь, пока выяснится... Выступят всю комнату...

В дверь просовывается всклокоченная голова АННЫ ИВАННЫ. Это худенькая малокровная робкая женщина.

А н н а И в а н н а . Доброе утро... можно к вам? (*Входит.*)
Ой, что у вас творится!..

Б е л к и н . Доброе утро...

А н н а И в а н н а . Ящики какие-то... Это фрукты?

Б е л к и н . Да что вы, Анна Иванна, какие фрукты!

А н н а И в а н н а . Не фрукты? А что это?

В дверь заглядывает СЕРГЕЙ ИВАНЫЧ.

С е р г е й И в а н ы ч . Нюра, ты здесь? Доброе утро, Алексей Иванович.

Б е л к и н . Доброе утро, Сергей Иванович, входите, а то они и так все выступили.

Сергей Иванович входит, но тут же отстраняется, чтобы пропустить идущего за ним 1-го ГРУЗЧИКА с ящиком.

Сергей Иванович (*кивает на ящики*). Обзаводитесь по-маленьку...

Белкин. Да нет, это не мое... Это по ошибке. Видимо, перепутали номер дома.

1-й ГРУЗЧИК, бросив ящик, выходит. Навстречу ему идет 2-й ГРУЗЧИК с ящиком, ставит ящик на ящик, выходит.

Я им сказал, чтобы ставили к стене. Чтобы проход не загоразживать.

Сергей Иванович. А много еще ящиков?

Белкин (*стараясь побороть раздражение*). Откуда же я могу знать? Носят пока...

Анна Иванна. А что в этих ящиках?

Белкин. Понятия не имею! Знаю об этом не больше, чем вы.

Анна Иванна. А вы спросите у них... Они, наверно, знают.

Белкин. Нет, спрашивать я не буду. Ящики эти принадлежат не мне, для чего мне спрашивать, что в них?

Анна Иванна. А все же интересно...

Белкин (*с легким раздражением*). Совершенно неинтересно.

Сергей Иванович (*осматривая ящики*). Ничего не написано... Хотя бы буква какая или цифра... Это, наверно, из заграницы.

Белкин. Из заграницы? С чего вы взяли?

Сергей Иванович. Видно, это не наши.

Белкин. Откуда видно?

Сергей Иванович. Если бы наши, было бы по-русски написано. А тут — ничего, нигде никакого знака.

Входит 1-й ГРУЗЧИК с ящиком.

Белкин. Еще!.. Да сколько же их там? Так вы мне всю комнату заставите.

1-й ГРУЗЧИК, не отвечая, ставит ящик на ящик, вытирает рукавом пот, выходит. Входит 2-й ГРУЗЧИК с ящиком, он также ставит ящик на ящик, вытирает рукавом пот, выходит.

Сергей Иванович (*как бы про себя*). Да, носят...

В дверях показывается ВЕРА ИВАННА.

В е р а И в а н н а . Алексей Иванович, можно к вам? (Входит.)
Доброе утро.

Б е л к и н . Доброе утро.

В е р а И в а н н а . Я вам книжку принесла, большое спасибо. Можно будет достать продолжение?

Б е л к и н . Если есть на месте, принесу.

В е р а И в а н н а (указывает на ящики). Это всё книги?

Б е л к и н . Да что вы, Вера Иванна! Это ящики не мои, их сюда принесли по ошибке.

В е р а И в а н н а . По ошибке? Ну уж навряд ли. Если бы у вас взяли что-нибудь да увезли, вот это могла бы быть ошибка, а то к вам...

Б е л к и н . И тем не менее это ошибка. И очень досадная... Наследили мне на полу... комнату выстудили.

С е р г е й И в а н ы ч . Да, неприятно... Еще, не дай Бог, пропадет что-нибудь... из содержимого...

В е р а И в а н н а . Как это — пропадет? Если Алексей Иванович не будет их вскрывать, то и не пропадет.

Б е л к и н . Еще не хватало! Зачем же я буду их вскрывать? Чужие ящики! Какое я имею право их вскрывать!

Все это время ГРУЗЧИКИ поочередно входили с ящиками и выходили. Теперь они ставят ящики друг на друга. Ящиков уже так много, что приходится влезать на стол, чтобы поставить их один на другой. Стол пришлось подвинуть, вещи на нем сгрудить в один угол. Все это сделали грузчики так же молча и неторопливо, ни к кому не обращаясь, точно не замечая никого из присутствующих.

Внимание! Режиссеру. Очень важно найти правильный ритм хождения грузчиков с ящиками и без ящиков. Они должны ходить неторопливо, грузно, ритмично, как автоматы, но без всякого налета гротеска. Страшно должно быть от их ритмического появления и ухода, а также от их полной обособленности.

А н н а И в а н н а . Да, конечно, лучше не вскрывать. А то потом и не пропадет, так скажут, что пропало.

В е р а И в а н н а . А я бы вскрыла. Обязательно бы вскрыла. Мало ли что там лежит. Вы должны знать.

Б е л к и н . Да что вы, Вера Иванна, — чужие ящики! Какое я имею право?

Входит СИГИЗМУНД ИВАНЫЧ, подвижной, энергичный, бестолковый, с постоянной болезненной гримасой на лице, говорит быстро и путанно.

С и г и з м у н д И в а н ы ч (*к Вере Иванне, активно, в тоне Белкина*). Да! Какое он имеет право? Чужие ящики! Это же ошибка, они попали сюда скорее всего по ошибке, ошибки везде могут быть, в любом деле. Вон на прошлой неделе на почтамте один посылку отправлял, не успел отвернуться, а она ка-ак схватит ее и — тю-ию! А он только глазами хлопает. (*Сизизмунд Иваныч показывает, как он хлопает глазами.*) Ошибки везде могут быть, в любом деле...

В е р а И в а н н а (*перебивает его*). А все-таки я бы вскрыла. Как это? У меня в комнате ящики, а я не имею права их вскрыть? Надо же знать, что в них лежит!

Б е л к и н (*постепенно теряя терпение*). Зачем? Не все ли мне равно? Ведь это ящики чужие!

С и г и з м у н д И в а н ы ч (*в тон Белкину*). Ящики чужие!

В е р а И в а н н а (*не обращая внимания на Сигизмунда Иваныча*). Вот вы как, Алексей Иваныч, рассуждаете, а это неправильно, а вдруг там что-нибудь такое...

Б е л к и н (*с заметным раздражением*). Ну что, что «такое»?

В е р а И в а н н а (*значительно*). Отравляющие вещества.

Б е л к и н. Да что вы... какая ерунда!

В е р а И в а н н а. Нет, не ерунда. Очень даже может быть.

С и г и з м у н д И в а н ы ч. Может быть. Я же говорю — может быть!

Б е л к и н. Ну хорошо, допустим, отравляющие вещества. Неужели вы думаете, что они там лежат без упаковки?

В е р а И в а н н а. Почему? В упаковке. Но все же какой-то процент испаряется.

С е р г е й И в а н ы ч. Ничего не испаряется. Отравляющие вещества содержатся в герметической упаковке, и никуда они не испаряются.

С и г и з м у н д И в а н ы ч (*в тон Сергею Иванычу*). Никуда они не испаряются! Зачем им испаряться? Это мы с вами испаряемся!

В е р а И в а н н а. Ну а если там бомбы?

Б е л к и н. Какие бомбы?

В е р а И в а н н а. Фугасные бомбы.

С и г и з м у н д И в а н ы ч (*он уже согласен с Верой Ивановой*). Да, фугасные бомбы! (*Смотрит на Белкина, какое это произведет на него впечатление.*)

Сергей Иванович. Ну и что? Они же сами не взорвутся, если их не бросать!

Вера Иванна. Неважно. Алексей Иванович не имеет права держать в комнате бомбы.

Белкин. Но при чем здесь я? Ведь я не просил, чтобы эти ящики сюда ставили! Кто-то ошибся, при чем здесь я?

Сигизмунд Иванович. Кто-то ошибся, я же говорил, произошла ошибка!

Белкин. Всё это глупости. Бомбы какие-то придумали!..

Сигизмунд Иванович. Это скорее всего какие-нибудь научные приборы. Или макароны.

Анна Иванна. Конечно, макароны! По формату видно, что макароны.

Сергей Иванович (*продолжая осматривать ящики*). Не похоже. Если бы макароны, было бы написано. Это что-то совершенно секретное.

Белкин. Ах, не знаю я, что в этих ящиках, и знать не хочу. Всё это недоразумение, которое скоро выяснится.

Входит МАРТЫН ИВАНЫЧ, сухонький, небольшого роста, седой, с выправкой бывшего военного, за ним СТЕПАН, равнодушный здоровяк, в тулупе и в валенках, поверх тулупа — дворницкий фартук.

Мартын Иванович. Здравствуйте.

Кто-то успевает ему ответить.

А, вот они, эти ящики... А мне говорят: иди, Мартын Иванович, там во вторую квартиру ящики какие-то носят, как бы пожара не было.

Белкин. Пожара?

Мартын Иванович. Ну да, что вас удивляет? Мало ли. Закурите папиросу, а в ящиках этих, может быть, бензин или там еще какая-нибудь воспламеняющаяся жидкость, вот тебе и, пожалуйста, вспыхнет и — готовое дело. Сгорим все за милую душу!

Сигизмунд Иванович. За милую душу! Как факел!

Белкин. Да что вы, откуда же бензин?

Мартын Иванович. А почему нет? Вы знаете, что нет? Можете дать подписку? Не можете. Значит, курить около этих ящиков нельзя.

Белкин. А где же мне курить?

Мартын Иванович. На лестницу выходите. Мы не имеем права рисковать в таком деле. (Степану.) Степан, сюда надо табличку прибить, к этой стене: «Курить строго воспрещается». Сходи в контору, тебе Марья Иванна даст табличку, скажи, я велел.

СТЕПАН, кивнув, с равнодушным видом выходит.

Белкин. Неужели вы думаете, что это недоразумение может долго длиться? Я уверен, что их сегодня же отсюда увезут. В крайнем случае — завтра.

Мартын Иванович. Всё может быть. Этого мы знать не можем. Мы несем ответственность вместе с вами за эти ящики, за их сохранность и неприкосновенность. Я обязан принять меры.

Белкин. Да, конечно, вы по-своему правы... Ну что ж, не буду здесь курить.

Мартын Иванович. Да это же временно, пока ящики не увезут. Как увезут, курите себе на здоровье. Хоть кальян. Ну, я пошел. Если что надо, я буду у себя. (Выходит.)

Всё это время ГРУЗЧИКИ продолжали носить ящики. Комната уже почти заставлена ими, две колонны ящиков идут почти до потолка, третья — до половины, остальные ящики, беспорядочно нагроможденные, отнимают три четверти свободного пространства. В дверь время от времени заглядывают какие-то люди, видимо, СОСЕДИ, из любопытства, пользуясь тем, что грузчики открывают дверь, чтобы внести очередной ящик. Грузчики входят и выходят так же молча, не обращая ни на кого внимания, не быстрее и не медленнее, чем вначале, как автоматы, может быть, только немного чаще вытирая рукавом пот, так, чтобы их молчаливое хождение стало зловещим фоном сцены.

Сергей Иванович. Нюра, пошли, надо дать человеку отдохнуть.

Белкин. Да какой тут отдых!

Сигизмунд Иванович. Какой тут отдых! Отдыхать хорошо в доме отдыха. У нас один с работы поехал в дом отдыха, приезжает, а там всё вот так. (Показывает руками, желая изобразить беспорядок или неразбериху.) Какой тут отдых, тут не то что отдыхать, тут телевизор-то смотреть не захочешь... вот вам и дом отдыха! А говорят: «Поезжайте в дом отдыха!», вот я и го-

ворю, как ездить в дома отдыха — вернулся без носков и без чемодана, и чемодан забыл, и носки, всё забыл!

Сергей Иванович. Пошли, Нюра, я на работу опоздаю. Ну, Алексей Иванович, желаю вам. Пока.

Анна Иванна. До свиданья.

Белкин. До свиданья.

СЕРГЕЙ ИВАНЫЧ и АННА ИВАННА выходят.

Вера Иванна. Я тоже пойду. Так вы принесете продолжение, не забудете?

Белкин (*прячась за колонной ящиков, одевается*). Не забуду.

ВЕРА ИВАННА выходит.

Сигизмунд Иванович. Я не прощаюсь. Я еще загляну сегодня. (*Выходит.*)

Грузчики, которые продолжали всё это время входить и выходить, уже загородили ящиками одно окно. Теперь комната почти вся завалена ящиками, остался только угол возле дивана, куда сгружены тумбочка, стол и стулья. Грузчики начинают ставить ящики у второго окна. Входит СТЕПАН с табличкой.

Белкин (*продолжая одеваться*). Степан, я тебе ключи оставляю. За ящиками могут приехать в течение дня.

Степан (*прибывая табличку, равнодушно*). Оставляй.

Белкин (*выходит из-за ящиков одетый, роется в карманах, достает ключи, подает Степану*). Закрой на два поворота. (*Надевает пальто, шляпу, берет портфель.*) Ну, я пошел.

Он идет к дверям. В эту минуту дверь распаивается и ОБА ГРУЗЧИКА с ящиками входят один за другим в комнату. БЕЛКИН пропускает их, останавливается на секунду, смотрит им вслед, потом делает жест человека, который понимает идиотизм положения, но ничего не может с этим поделать, и выходит.

ЗАНАВЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ

под грохот двух сброшенных ящиков.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Комната Белкина, вся заставленная ящиками. Оба окна закрыты, шкаф заставлен, его не видно. Справа, в углу, где диван, вплотную друг к другу сгружена вся остальная мебель. Прямо перед зрительным залом ящики поднимаются почти до потолка, образуя как бы широкие ступени, по которым можно подняться наверх, как на полочку в парной бане. Наверху заметно светлее, так как туда попадает свет из заставленного ящиками окна. Справа, под самым потолком, застелена постель, накрытая одеялом, тут же, неподалеку, нечто вроде туалетного столика — на ящике, застеленном газетой: зеркало, бритвенный прибор, одеколон. Посредине, поближе к свету, сидит БЕЛКИН, что-то шьет. В дверь стучат.

Г о л о с В е р ы И в а н н ы . Алексей Иванович, вы дома?

Б е л к и н . Дома, Вера Иванна, входите.

В е р а И в а н н а (*входит, озирается*). Где вы?

Б е л к и н . Я здесь.

В е р а И в а н н а . Вон вы куда забрались.

Б е л к и н . Пуговицу пришиваю. Здесь светло. Не хочу сидеть при электрическом свете. Поднимайтесь сюда.

В е р а И в а н н а . Туда? (*Начинает подниматься по ящикам.*) А я не провалюсь?

Б е л к и н . Что вы, ящики крепкие. (*Встает, подает ей руку, помогает подняться.*) Садитесь.

Оба садятся.

В е р а И в а н н а . А тут у вас тепло.

Б е л к и н . Тепло. И света больше.

В е р а И в а н н а . Вы и спите здесь?

Б е л к и н . Да. Внизу холодно, батареи загорожены.

В е р а И в а н н а . А не боитесь во сне свалиться?

Б е л к и н . Что вы, я же не ребенок. Да и здесь не узко — как в купе на верхней полке.

В е р а И в а н н а . Я бы сказала, что здесь даже уютно.

Б е л к и н . Ну, уюта особого нет, но жить можно. Вот хочу ковер сюда постелить, принес его из химчистки.

В е р а И в а н н а . А давайте сейчас постелим?

Б е л к и н . Давайте. (*Спускается вниз, разворачивает лежащий на диване ковер, несет его наверх.*) Вот мой ковер, не новый, правда, но еще ничего.

В е р а И в а н н а . Сюда сойдет. *(Помогает ему расстелить ковер.)* На себя потяните. Вот так. А сюда можно цветок поставить.

Б е л к и н . У меня нет цветка.

В е р а И в а н н а . Я вам дам. Кактус. *(Спускается.)* Сейчас принесу.

Б е л к и н . Спасибо, если у вас лишний...

В ЕРА ИВАННА выходит. Белкин остается один, он поправляет ковер, отходит в сторону, смотрит, ровно ли постелили, снова поправляет. Входит ВЕРА ИВАННА, в руках у нее кактус в глиняном горшке.

Б е л к и н *(спешит ей навстречу)*. Дайте мне. *(Берет у Веры Ивановны кактус, поднимается.)*

В е р а И в а н н а *(поднимается за ним)*. Вот туда поставьте. *(Показывает.)*

Белкин ставит кактус на ковер.

С ним уютнее, правда?

Б е л к и н *(неуверенно)*. Пожалуй...

В е р а И в а н н а . Ну как, были вчера в Управлении?

Б е л к и н . Был. Никакого толку не добился. Никто не может решить этот вопрос! Я даже вспылil — ну подумайте, три дня хожу по всяким учреждениям и никакого толку! Никто не знает, что делать с этими ящиками.

В е р а И в а н н а . Как еще вас с работы отпускают!

Б е л к и н . У меня начальник хороший. Сочувствует мне. Но, конечно, и у него терпение может лопнуть.

В дверь стучат.

Войдите.

Входит МАРТЫН ИВАНЫЧ, за ним СТЕПАН, в тулупе и в валенках. В руках у него громадная мышеловка.

М а р т ы н И в а н ы ч . Здравствуйте, товарищ Белкин.

Б е л к и н . Здравствуйте, Мартын Иванович. Здравствуй, Степан.

С т е п а н . Здравствуйте.

М а р т ы н И в а н ы ч . Извините, придется вас побеспо-

коить на несколько минут. Вы должны ознакомиться с инструкцией.

Степан *(лениво)*. И расписаться.

Мартын Иванович. Само собой, расписаться.

Белкин. С какой инструкцией? *(Начинает спускаться.)*

За ним спускается Вера Иванна.

Вера Иванна. Алексей Иванович, я потом зайду. *(Выходит.)*

Мартын Иванович *(протягивает Белкину бумагу)*. Вот, ознакомьтесь.

Белкин *(берет бумагу, читает)*. «Правила внутреннего распорядка для лиц, находящихся в помещении склада...» А при чем тут я? Здесь же не склад, жилое помещение!

Мартын Иванович. Оно было жилое. А коль скоро сюда поступила партия ценных грузов, это помещение должно быть приравнено к складу. А раз оно приравнено к складу, то и вступают в силу соответствующие правила распорядка. Дайте-ка мне инструкцию. *(Берет у Белкина инструкцию, надевает старенькие очки в железной оправе, читает.)* Вот: «В помещении склада запрещается: а) курить, — ну, это вы знаете, б) включать электроприборы, в) впускать посторонних людей без пропуска *(строго смотрит на Белкина)* и г) срывать с дверей пломбу.

Белкин. Какую пломбу?

Мартын Иванович *(неохотно)*. Ну, какую?.. Пломбу. Опечатывать вас будем. С субботы на выходной.

Белкин. Опечатывать? А как же ходить?

Мартын Иванович. Не будете ходить. Да это же временно! Пока ящики от вас не заберут.

Белкин. Значит, я в выходной и выйти не смогу? Почти двое суток?

Мартын Иванович *(кротко)*. Не двое, меньше — с трех часов в субботу опечатаем вас, а в понедельник утречком распечатаем. И — на всю неделю.

Белкин *(механически)*. На всю неделю?..

Мартын Иванович. Ну да. В будние дни Степан будет ночью дежурить. Сторожить ящики.

Белкин. Где будет дежурить?

Мартын Иванович. Здесь, в этом помещении. А для того, чтобы он не нажег вам электричества, поскольку свет должен гореть всю ночь, поставим сюда фонарь от уличной проводки.

Белкин. Но я не могу спать при свете!

Мартын Иванович. Да это же временно. Пока здесь ящики. Как только ящики увезут, так и фонарь уберем.

Белкин. А если их еще месяц не увезут?

Мартын Иванович. Придется потерпеть.

Белкин. Но я не могу спать, когда горит свет... Да еще в присутствии постороннего человека, который в это время не спит!..

Мартын Иванович. Он же сторож, чего ж он будет спать? Ему спать не полагается. Он должен сторожить, он за это деньги получает. Я предлагаю, Степан, караулить тебе с колотушкой, пусть это по старинке, а все же средство верное, что бы мне ни говорили, — вор на колотушку не пойдет. Есть у тебя колотушка?

Степан. У меня нет. В доме девять у дворника есть. Он из деревни привез. Для смеху.

Мартын Иванович (строго). Никакого смеху тут нет. Возьми у него колотушку сегодня же.

Белкин. Как колотушку?.. Зачем колотушку?..

Мартын Иванович (простодушно). Колотить в нее! От воров верное средство.

Белкин. А как же я? Мне же будет мешать ваша колотушка!

Мартын Иванович (со вздохом, как бы желая показать, как трудно с Белкиным разговаривать). Так это же временно, я же вам сказал, пока ящики здесь находятся, как только их увезут, никто тут у вас дежурить не будет, сами подумайте — не вас же нам сторожить! (Мягко.) Кому вы нужны? (К Степану.) Что же ты, Степан, мышеловку не налаживаешь?

Степан. Успеется. (Начинает налаживать мышеловку, вынимает из кармана кусок колбасы.)

Белкин. А зачем мышеловку? У меня мышей нет.

Мартын Иванович. Не было раньше. А теперь могут завестись. Не только мыши, но и крысы. Мы же не знаем, что в этих ящиках, может, там крупа или сухари! С грызунами не так-то легко бороться. (Степану) Тебе Марья Иванна дала крысиного яду?

Степан. Дала. Сначала не хотела. Говорит, пиши заявление, без заявления, говорит, яду не выдаем.

Мартын Иванович (печально). Это она правильно сказала. Но ты все же потребовал?

Степан. Потребовал. Я сказал, что крысы бегают по оде-

ялу, жильцу спать не дают. (*Добродушно усмехается.*) Ну вот, готова мышеловка, ни одной не одобровать!

Мартын Иванович. Поставь туда. (*Показывает.*) Ну, кажется, всё. (*Оглядывает комнату.*) Распишитесь, что прочли документ. (*Подает Белкину инструкцию.*)

Тот расписывается, возвращает инструкцию.

(*Мартын Иванович прячет ее в карман.*) Ну, извините, что помешал. (*Идет к дверям, на пороге останавливается.*) А этот коврик снимите. Ящики закрывать не полагается. Вообще я бы вам не рекомендовал ими пользоваться — чужие вещи, не вам принадлежат... нехорошо это.

Белкин. Но мне негде спать! Внизу холодно, батареи задвинуты... я мерзну.

Мартын Иванович. Холодно — накройтесь чем-нибудь. Вот Степан теперь будет у вас дежурить, он может свой тулуп вам давать. До шести утра. Он же не будет здесь в тулупе сидеть, верно, Степан?

Степан. Пускай берет. Только обход буду делать два раза в ночь, тулуп понадобится.

Мартын Иванович. Ну, так это на пятнадцать минут! Снимешь тихонько с товарища Белкина, а потом опять тихонечко его накроешь. (*Белкину.*) Вы и не проснетесь!

Белкин. Да что вы, я сплю чутко, обязательно проснусь.

Мартын Иванович. Это первое время. А потом привыкнете. А под тулупом знаете, как приятно спать? Жарища! Как на полатах! (*Простодушно.*) Я любил маленький в деревне под тулупом спать!..

Белкин. Хорошо, попробую... если уж на ящиках нельзя.

Мартын Иванович (*грустно и наставительно*). Нельзя, товарищ Белкин, не полагается. А раз не полагается, значит, нельзя. Вы думаете, мне жалко? Если бы меня спросить, пожалуйста — пей, ешь на них, хоть танцуй. Но не положено. Значит, договорились? Снимете коврик? Нельзя их наглухо закрывать, надо, чтобы они имели доступ воздуха. Ящики дышать должны.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Ночь. Комната Белкина. Слева, перед лавкой, тускло горит большой уличный фонарь на длинном столбике. Ковер снят. На диване под тулупом

спит БЕЛКИН. СТЕПАН сидит на лавке, в носках, за плечами ружье, дремлет. Рядом стоят валенки.

Степан (*просыпается, громко зевает*). О-хо-хо-о... (*Надевает валенки, подходит к спящему Белкину, снимает с него тулуп.*)

Белкин (*просыпается, поднимает голову*). Ты, Степан? Который час?

Степан. Спи, спи, еще рано. Второй обход начинаю.

Белкин. А я боялся, что проспал...

Степан. Чего бы ты проспал? Я же сказал, разбужу. Рано еще, десять минут пятого. Спи пока.

Белкин (*садится, опускает ноги на пол*). Да что-то не хочется...

Степан. Спать надо, а то на работе будешь носом клевать.

Белкин. Я сегодня на работу не иду. Я сегодня иду на прием к важному человеку. Две недели не мог попасть. Ночью несколько раз просыпался, думал, что проспал.

Степан. Да, ты последнее время беспокойно спишь, разговариваешь во сне. Сегодня даже кричал. Слов не разобрать, только слышно: ящики! ящики!

Белкин. Снилось какая-то дрянь.

Степан. А один раз застонал, я думал, сердце опять схватило, как прошлый раз... хотел разбудить, а потом раздумал.

Белкин. Нет, сердце сегодня не болело.

Степан (*берет колотушку*). Ну, я пошел. А ты спи. Сил набирайся. С начальством разговаривать.

СТЕПАН выходит. Слышится мерный звук его колотушки. Белкин встает, нашарив ногами тапочки, берет сигарету, закуривает, идет к дверям, открывает их, некоторое время стоит, курит, пуская дым на лестницу. В дверь заглядывает СИГИЗМУНД ИВАНЫЧ, щека его завязана платком, видимо, у него болят зубы.

Сигизмунд Иванович. Алексей Иванович, можно к вам? (*Входит.*) Добрый день...

Белкин. Здравствуйте, Сигизмунд Иванович, что с вами?

Сигизмунд Иванович. Зуб у меня болит, мочи нет... Услышал, что вы не спите, решил к вам зайти, — у вас случайно спирта нет?

Белкин. Спирта нет. Есть водка, хотите?

С и г и з м у н д И в а н ы ч *(радостно)*. Давайте. Водка тоже от зуба хорошо.

Белкин гасит сигарету, идет к тумбочке, достает бутылку водки.

Б е л к и н *(подает Сигизмунду Иванычу бутылку)*. Вот, держите. Купил вчера, решил напиться. Настроение паршивое.

С и г и з м у н д И в а н ы ч . А что ж не выпили? Всё бы как рукой сняло.

Б е л к и н . Передумал. Я ведь непьющий, вы знаете.

С и г и з м у н д И в а н ы ч . И зря. Немного выпивать полезно. Это и врачи признают, только сознаться не хотят. А стаканчик дадите?

Б е л к и н . Как, вы здесь хотите? Возьмите с собой.

С и г и з м у н д И в а н ы ч . С собой не могу... жена ругаться будет. Я здесь выпью, если не возражаете.

Б е л к и н . Пожалуйста... Вот стакан. *(Ставит на тумбочку стакан.)*

С и г и з м у н д И в а н ы ч . А вам?

Б е л к и н . У меня зуб не болит.

С и г и з м у н д И в а н ы ч . Лучше заснете.

Б е л к и н . Вы думаете? Ладно, давайте. *(Ставит второй стакан.)*

Сигизмунд Иваныч разливает водку в стаканы. Белкин роется в портфеле, достает бутерброд, завернутый в бумагу, разворачивает.

Вот и закуска... вчера забыл съесть...

С и г и з м у н д И в а н ы ч *(берет стакан)*. Будем здоровы.

Б е л к и н *(берет стакан)*. За ваше здоровье.

Чокаются. Пьют. Сигизмунд Иваныч отламывает от бутерброда кусок, ест.
Разливает остаток водки в стаканы.

С и г и з м у н д И в а н ы ч *(берет стакан)*. Поехали...

Белкин берет стакан. Чокаются. Пьют. Белкин ставит стакан.

Б е л к и н . Тошно мне, Сигизмунд Иваныч.

С и г и з м у н д И в а н ы ч . Знаете что? Поехать бы вам в дом отдыха... Один у нас с работы поехал в дом отдыха, приезжа-

ет, а там всё вот так... (*показывает руками*) да, это я уже рассказывал...

Белкин (*решительно*). Никуда я не поеду. Пока не кончу с ящиками. Сегодня всё должно решиться.

ЗАНАВЕС МЕДЛЕННО ЗАКРЫВАЕТСЯ.

Вся сцена шла под равномерный звук сторожевой колотушки. И сейчас, после того как занавес закрылся, в полной темноте слышится нарастающий монотонный звук колотушки, который, дойдя до кульминации, начинает постепенно ослабевать, как если бы человек с колотушкой медленно удалялся.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

На просцениуме кусок приемной Ивана Алексеевича. Стол. За столом СЕКРЕТАРЬ, молодой румяный полный блондин, чуть лысеющий. Входит БЕЛКИН. Сейчас при ярком свете мы видим, как он изменился: он похудел, оброс, видно, что уже несколько дней не брился, глаза ввалились.

Белкин. Здравствуйте. Моя фамилия Белкин. Иван Алексеевич у себя?

Секретарь (*занятый своим делом*). Сегодня приема не будет.

Белкин. Как не будет? Я же записан...

Секретарь. У Ивана Алексеевича коллегия.

Белкин. Но я жду уже две недели...

Секретарь. Я вам сказал, что Иван Алексеевич принимать не будет. У него коллегия.

Белкин. Но он еще здесь?

Секретарь. Сейчас уезжает.

Белкин. Тогда попросите его принять меня... Я не могу больше ждать. Я уже месяц хожу по разным учреждениям, и никто не может решить моего вопроса!

Секретарь. Но вам же говорят, Иван Алексеевич занят. Приема не будет.

Белкин. А я вам заявляю, что не уйду отсюда до тех пор, пока не буду принят! Я должен его видеть! Сегодня же! Если надо, буду здесь ночевать!

Секретарь (*молча смотрит на Белкина, потом подходит к двери, ведущей в кабинет Ивана Алексеевича, открывает ее*). Войдите.

Белкин входит в кабинет. Секретарь закрывает за ним дверь.

СЦЕНА ПОВОРАЧИВАЕТСЯ.

Кабинет Ивана Алексеевича. Ковер, длинный полированный стол для совещаний, мягкие кресла, на стенах громадные застекленные золоченые рамы без портретов. Прямо против зрительного зала во всю длину комнаты висит занавеска из тяжелой дорогой материи. Паркет безукоризненно блестит. Всюду порядок, роскошь, комфорт. За громадным пустым письменным столом, на котором нет никаких предметов, кроме замысловатого чернильного прибора, сидит ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, щуплый, элегантно одетый мужчина неопределенного возраста, с усталым серым лицом, в золотых очках. (Немая роль.)

Б е л к и н . Здравствуйте, Иван Алексеевич...

Иван Алексеевич встает, протягивает руку, Белкин пожимает ее.

Моя фамилия Белкин...

Иван Алексеевич молча показывает на кресло, оба садятся.

Я по поводу ящиков... Ящики мне отгрузили... по ошибке... ко мне в комнату... и так они с тех пор у меня стоят... ужасно мешают... Так вот, я прошу, чтобы эти ящики от меня увезли... Но никто не может без вас решить этого вопроса... Поэтому, Иван Алексеевич, вы простите, что я был так настойчив... требовал, чтобы меня приняли... даже голос повысил... извините... это нервы... Право, я не мог больше ждать... Поверьте, жизнь моя невыносима... Это может показаться странным, но я дошел до самых мрачных мыслей...

Иван Алексеевич берет со стола какую-то бумагу, читает ее. Белкин замолкает, ждет, видно, что он очень волнуется. Иван Алексеевич кладет бумагу на стол.

Я ничего особенного не прошу... Я прошу, чтобы эти ящики от меня увезли... Если нельзя найти так быстро их хозяина, то, может быть, можно пока перевезти их на какой-нибудь склад?

Иван Алексеевич молча смотрит на Белкина. Потом так же молча отрицательно качает головой.

Что? Вы мне отказываете? Вы! Значит, я должен жить с этими ящиками! Но это же несправедливо! Чья-то оплошность... ошибка... Кто-то перепутал адрес... Чего ради я должен терпеть эти бессмысленные мученья?.. Так вот, заявляю вам, что больше терпеть этого не намерен! Я выброшу эти ящики! В конце концов какое они имели право? Пускай меня судят! Все равно, так жить я не могу! Понимаете? Не могу!

Вместо ответа Иван Алексеевич молча встает из-за стола, подходит к занавеске и, как-то странно взглянув на Белкина, отдергивает ее, открывая груды наваленных в беспорядке точно таких же ящиков; их такая масса, что они занимают больше половины этой просторной и красивой комнаты, закрывая почти доверху три больших окна и являя собою безобразную картину беспорядка и какой-то грозной стихии.

БЕЛКИН некоторое время в ужасе смотрит на ящики, потом, обхватив руками голову, молча выбегает из кабинета.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

На просцениуме кусок двора, дерево, скамейка, стол. Налево кусок многоэтажного дома, видны окна, балконы. Входит БЕЛКИН. Вид у него измученный, он с трудом передвигает ноги, дойдя до скамьи, тяжело опускается на нее, некоторое время сидит молча. Одно из окон с треском распахивается. В окне показывается АННА ИВАННА.

А н н а И в а н н а . Алексей Иваныч! Вот вы где!

Белкин поднимает голову.

А мы вас ждем! Идите скорее! Ваши ящики увозят!

Б е л к и н (растерянно). Ящики... увозят... (Встает, но тут же хватается за сердце, закрывает глаза, снова садится.)

ЗАТЕМНЕНИЕ.

Когда свет зажигается, мы видим комнату Белкина, почти пустую. ГРУЗЧИКИ носят ящики. У окна узкая колонна ящиков, несколько ящиков валяется в разных углах. СЕРГЕЙ ИВАНЫЧ размонтирует фонарь, ему помогает СТЕПАН. СИГИЗМУНД ИВАНЫЧ выносит пустую мышеловку,

ставит за дверь, возвращается. ВЕРА ИВАННА прибирает постель, вытирает пыль. Грузчики так же молча, не обращая ни на кого внимания, входят и выходят с ящиками, унося их в той же позе, как вносили. Вбегает АННА ИВАННА.

А н н а И в а н н а . Он идет! Он сидел во дворе на скамейке!

В е р а И в а н н а . Он ничего не знал?

А н н а И в а н н а . Ничего не знал! Вы бы видели его лицо!

С е р г е й И в а н ы ч (*возится с фонарем. Степану*). Скорее, пока он не пришел... Готово!

Фонарь снимают, Степан, взвалив его на плечо, хочет выйти, открывает дверь. На пороге стоит БЕЛКИН.

А н н а И в а н н а . Вот он! Алексей Иваныч! Видите? Выносят!

СТЕПАН пропускает Белкина, выходит. Белкин медленно входит в комнату. Он как будто плохо соображает, что вокруг него происходит. Лицо его не выражает никакой радости, скорее растерянность.

В е р а И в а н н а . Сейчас будет чистота и порядок. Немножко не успела к вашему приходу.

С е р г е й И в а н ы ч . Всё будет, как полагается. Как и не было этих ящиков.

С и г и з м у н д И в а н ы ч . Вон комната какая стала, хоть мазурку танцуй!

В е р а И в а н н а . Рано танцевать. Сначала наведем порядок. Видите, вон там шторка оборвалась, надо прибить.

С е р г е й И в а н ы ч . Давайте прибью. (*Берет молоток, влезает на стол.*) Не достану. Надо стул.

Сигизмунд Иваныч подает ему стул. Сергей Иваныч ставит стул на стол, влезает на него. Хочет поправить занавеску, боится, что не удержится, оглядывается вокруг, ищет обо что опереться. Пробует опереться ногой о колонну ящиков, стоящую поблизости. Колонна шатается. Ящики с грохотом рушатся вниз, при этом один из ящиков разбивается. Белкин стоит зажмурившись. Анна Иванна первая подбегает к ящику.

А н н а И в а н н а . Ящик разбился!

Все окружают Анну Иванну. Последним к группе подходит Белкин. Его пропускают вперед.

А н н а И в а н н а (*наклоняется над ящиком*). Смотрите!..
Что в нем было!

Она достает из разбитого ящика еще один ящик, меньших размеров, подносит этот ящик Вере Иванне, та достает из него еще один ящик, поменьше, подносит его Белкину. Белкин достает из него еще один ящик, молча держит его. Всеобщее молчание.

(*После паузы*). Что это?

С т е п а н (*который вошел минуту тому назад и наблюдал издали за этой сценой, спокойно*). Тара.

ЗАНАВЕС МЕДЛЕННО ЗАКРЫВАЕТСЯ.

Вся группа стоит неподвижно. Степан в стороне возится с электропроводкой. Сзади грузчики несут к выходу ящики.

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

В каждом акте художественного творчества имеются три элемента: тот, кто творит, то, что он творит, и тот, для кого он творит. Писатель творит для читателя. Эта направленность творчества может быть сознательной или подсознательной, но она всегда присутствует в творческом акте. Человеку присуще желание переживать красоту сообща с кем-нибудь другим.

Литературно-художественный акт есть акт синергический, в котором одно лицо открывается, а второе — это откровение принимает. Художник слова должен найти такой прием, посредством которого он сможет воспроизвести в читателе именно то, что он имел в виду: настроение, впечатление, звуки, краски, эмоции. Читатель со своей стороны должен быть способным в какой-то степени стать на время медиумом, отдать свои душевные и интеллектуальные способности писателю, чтобы тот мог воссоздать в нем некоторые мысли и эстетические ценности. Писатель и читатель должны стать созвучными друг другу, они воображением должны встретиться в том пункте, в котором произведение и воспроизведение становятся наиболее тождественными. Это можно изобразить следующей художественной цитатой:

«Только один высокий осокорь на берегу Музги еще не облетел до конца. Он отражался в воде, стоял в ней вершиной книзу. Когда с осокоря падал большой пахучий лист, то было видно, как такой же лист отрывался от отражения осокоря, и оба эти листа спокойно летели навстречу друг другу — один вниз, а другой вверх — и соединялись на темной воде Музги. Тогда два листа тотчас превращались в один, и его относило слабым ветром на середину реки»¹).

Главы из монографии.

¹) Константин Паустовский, Собрание сочинений в шести томах. Т. V, стр. 214. Государственное издательство художественной литературы. Москва, 1957-1958 гг.

Паустовский — романтик, его талант — талант лирический. Если читатель Паустовского не чужд лирике и романтизму и если к тому же любит и понимает природу так, как ее любил и понимал Паустовский, то его сердце и ум встретятся с сердцем и умом писателя в художественном созерцании.

СТАНОВЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ

Культурная среда

В одном месте Паустовский пишет, что становление его как человека и писателя происходило «при советской власти»²). При всей любви и уважению к писателю, нельзя не отметить, что эта биографическая справка наводит на мысль, что она либо неискренна, либо двусмысленна. Если ее понимать в смысле хронологическом и топографическом, то она отчасти верна, так как последние пятьдесят с лишком лет его жизни прошли действительно при советской власти и на советской территории. Если же писатель хотел сказать, что его духовное и интеллектуальное созревание происходило в связи с советской властью и *благодаря* ей, то этому нельзя верить. Паустовский стал писателем *несмотря* на советскую власть, вопреки ей. Он — лирик и романтик чистейшей воды, а что может быть более чуждо советскому строю, с его прокрустовым ложем социалистического реализма, чем лирика и романтика?

Условия, в которых советскому писателю вообще, а Паустовскому в частности, приходилось писать свои сочинения, очень характерно определены им самим, хотя слова эти были сказаны по иному поводу:

«...я впервые испытал жестокое удушье, когда кажется, что легкие залиты свинцом.

То были первые признаки астмы — безжалостной болезни, заставляющей человека дышать в четверть дыхания, говорить в четверть голоса, ходить в четверть шага, думать в четверть мысли и только задышаться в полную силу, без четвертей»³).

²) См. «Вместо предисловия» к Собранию сочинений, стр. 7.

³) К. Паустовский, «Повесть о жизни», (Бросок на юг), в 2-х томах. Государственное издательство художественной литературы. Москва. 1962, т. II, стр. 445. Все цитаты из книги «Повесть о жизни» будут даваться по этому изданию.

В другом месте Паустовский признается, что писательство — это тяжелый и ответственный труд, так как «одна-единственная крупинка правды, утаенная писателем от людей, — преступление перед собственной совестью, за которое он неизбежно ответит»⁴⁾.

Какова же была та среда, в которой находился писатель в тот период жизни, когда определялся его характер, крепились вкусы и зарождались интеллектуальные интересы? Это была среда интеллигентская, столь типичная для начала нынешнего века. Происхождение Паустовского — не пролетарское. По линии отца он происходил из казацкого рода. Его предки были запорожскими казаками, его дед унаследовал от них усадьбу Городище, живописно расположенную на острове, омываемом быстрыми водами Роси. Юный Паустовский проводил здесь летние каникулы, его первые детские воспоминания связаны нераздельно с этой местностью. Позже он писал:

«Что может быть пленительнее раннего детства, прожитого на Украине! Оно осталось в памяти, как светлая роса на синих и желтых ползучих цветах портулака, как дым соломы, застилавший осенние дни, как застенчивые грудные голоса дивчат — моих двоюродных сестер, как постоянный шум вязов над дедовским куренем»⁵⁾.

Красота окружающей природы навсегда поразила сердце впечатлительного мальчика. Вокруг дома находился сад, постепенно переходивший в лес. Река текла под таинственной сенью деревьев. Мальчик любил блуждать по лесу, ловить удочкой рыбу. Его дед, бывший николаевский солдат, побывал в турецком плену, затем чумаковал и лишь позже осел в родной усадьбе Городище. Он любил своего внука и часто, уединившись с ним на леваде, рассказывал о своем прошлом, передавал ему запорожские предания и легенды, пел украинские думки. Душа мальчика, как губка, впитывала эти впечатления. Сестра отца Паустовского, тетя Дозя, часто читала ему нараспев «Кобзарь», и грустные стихи украинского поэта впервые приобщали мальчика миру поэзии. Брат его матери, дядя Юзя, землепроходец и искатель приключений, своими рассказами в свою очередь развивал воображение мальчика. Это ощущение «ошеломляющего и таинственного разнообразия мира», эта дружба с «музой дальних странствий», зародившиеся

⁴⁾ См. предисловие к Собранию сочинений, т. I, стр. 14.

⁵⁾ К. Паустовский, «Тарас Шевченко», Собрание сочинений, т. IV, стр. 232.

в душе мальчика, никогда не покидали его и в старшем возрасте⁶).

Мать Паустовского происходила из среды обедневших польских дворян. Ребенок получил хорошее домашнее воспитание и учился в 1-й киевской классической гимназии, считавшейся лучшим учебным заведением. Любовь к уединению, к природе, цветам, театру, поэзии, музыке, мечтательность, застенчивость — вот основные черты его характера. Товарищи Паустовского по гимназии — это дети интеллигентов. Многие из них стали потом известными литераторами, актерами, драматургами. Учителя гимназии внушали своим воспитанникам любовь к культуре, к языкам, к музыке и философии. В Киеве в то время была оживленная культурная жизнь. Молодежь по мере возможности приобщалась к ней. Молодые люди увлекались не только отечественной литературой, но и западной. Французских и английских поэтов читали в переводах и в подлинниках. Поэзию не только читали, но ее творили, ею жили.

Ни политика, ни социология не интересовали Паустовского. Он смотрел в будущее, ожидая, что жизнь готовит ему «много очарований, встреч, любви и печали, радости и потрясений», и в этом предчувствии он видел великое счастье своей юности⁷).

В такой атмосфере, а не при советской власти, созревал юный Паустовский.

СУБЪЕКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАУСТОВСКОГО

Желание необыкновенного с детства преследовало писателя. Обладая очень развитым воображением, мальчик все время жил в напряженном состоянии. Его любимой наукой в гимназии была география. Он постоянно рассматривал атлас, непрерывно восхищался экзотическими названиями. Они звучали в его ушах, как музыка. Стоило ему сосредоточиться на каком-нибудь месте на карте, как он начинал ощущать запах лесов, видеть пену морского прибоя, в мыслях совершать все новые и новые путешествия.

На него часто находило настроение легкой мечтательности, и ему все тогда казалось удивительным и достойным внимания. Он находил покой и отдых в этих настроениях. Ему была присуща также «жажда рассматривания» предметов внешнего мира, и

⁶) «Ильинский омут». «Известия», от 9-го августа 1964 г.

⁷) К. Паустовский, «Беспокойная юность», Собрание сочинений, т. III, стр. 306.

это давало ему впечатления, которые постепенно становились элементами его психической жизни. Пристрастие к воспроизведению в памяти всего пережитого было иной особенностью писателя. Он пристально разглядывал жизнь, «как сквозь лупу», замечал, запоминал... Он любил «подцвечивать и подсвечивать» жизнь, от чего она наполнялась для него дополнительной прелестью. Это совершалось даже помимо его воли, ему часто казалось, что он живет как бы внутри романа или повести.

Вспоминая о своей постоянной, неутолимой жажде к впечатлениям, Паустовский признается, что не раз задавал себе вопрос, зачем и к чему он копит их; он не знал, как ответить на этот вопрос, так как делал это инстинктивно. Позже, когда он стал писателем, он понял, что это стремление было целеустремленным, хотя и подсознательным.

Постепенно в нем кристаллизуется мысль стать писателем. Эта профессия казалась ему наиболее благородной, наиболее независимой. Он понял, что писательство может стать адекватным выражением его внутренней жизни, его характера, его интересов. Приняв это решение, Паустовский одно время пытался перестроить свою жизнь соответственно этой высокой цели. Он попытался идти к ней сознательно и аскетически, но из этого ничего не вышло. После длительных попыток единоборства с самим собой, писатель пришел к заключению, что свободная, вольная жизнь гораздо важнее для него, чем педантичная забота о творчестве. Дух Моцарта победил дух Сальери.

Литература для Паустовского была выражением вольного человеческого ума и сердца. Он чувствовал, что она «каким-то подводным, вторым, отдаленным и вместе с тем очень близким звучанием... приближает нас ко времени золотого века наших мыслей, поступков и чувств»⁸⁾. С этим уважением к литературе была связана страстная любовь Паустовского к поэзии. Поэзия открыла перед ним все богатство и всю красоту русского языка, в поэзии «слова звучали как бы наново»⁹⁾. Были периоды в его жизни, когда стихи были для него «такой же реальностью, как хлеб ..., как солнце и воздух. ... Все окружающее я видел сквозь прозрачное вещество стихов»⁹⁾.

⁸⁾ К. Паустовский, «Начало неведомого века», Собрание сочинений, т. III, стр. 716.

⁹⁾ К. Паустовский, «Беспокойная юность», Собрание сочинений, т. III, стр. 527-528.

Впечатления нагромождались, творческие силы зрели, плодотворное творческое напряжение требовало разряда... У Паустовского период творческого настроения всегда предварялся чувством беспредметной, казалось бы, тоски. Ему хотелось бродить в одиночестве. Тоска помогала сосредоточиться: «Когда не пишешь, ищешь боли». «Когда тоска — хорошо писать». В этом настроении, писал он, «иногда я ощущаю на самом пределе сознательного сотни непередаваемых вещей, желаний, образов. Ум не в силах понять и охватить это. Сквозь его бесплодие и вялость я все чаще слышу требовательные упругие толчки новой воли»¹⁰).

Паустовский почувствовал желание писать стихи еще мальчиком, но из этого, по его признанию, ничего не вышло. Уже юношей, томимый тоской и одиночеством, он уходил в заброшенный сад, ложился на землю и сочинял. Но и это были плохие стихи, в которых все тонуло «в расплывчатой грусти». Затем юный Паустовский переходит к прозе. И здесь мастерство не дается ему сразу. Не было четкости замысла, слова теряли твердость, делались ватными, признается автор. В тексте было много «красивостей», утомляющих и автора, и читателя.

«Сила и строгость, необходимые прозе, превращались в шербет, в рехат-лукум, в лакомство. Они были очень липкие, эти словесные шербеты. От них трудно было отмыться»¹¹).

Искушение «красивостью» свойственно почти всем молодым и неопытным писателям, поэтам, художникам. Не избежал этого искушения и Паустовский, но, к счастью, у него эта полоса быстро прошла. Он уничтожил почти все, что тогда написал. Дар слова, которым он несомненно обладал уже в молодости, требовал дисциплины и самокритики. Это была первая «чистка»: она избавила прозу Паустовского от слащавой красоты. Вторая чистка, много позже, исцелила ее от излишней экзотики.

В предисловии к «Собранию сочинений» Паустовский рассказывает, как одно случайное наблюдение послужило толчком для перемены его отношения к своим произведениям. Однажды он посетил только что открывшийся московский планетарий. Зрелище искусственного звездного неба поначалу поразило его. Но вот, когда он вышел из планетария поздним вечером, он увидел над

¹⁰) К. Паустовский, «Романтики», Собрание сочинений, т. I, стр. 84.

¹¹) К. Паустовский, «Начало неведомого века», Собрание сочинений, т. III, стр. 676.

собой живое, сияющее звездами небо. Он сразу ощутил разницу между искусственным, бетонным куполом и беспредельным простором ночного небесного пространства. Мысль его, по аналогии, метнулась в область оценки собственного творчества. Оно представилось ему таким же искусственным, как небо планетария с его фальшивыми созвездиями. Паустовский постиг разницу между *красивостью и красотой*.

ДУХОВНЫЙ ОБЛИК ПИСАТЕЛЯ

Паустовский как личность является представителем переломной эпохи. Ему суждено было жить до революции, во время революции и после нее. Но по своему интеллектуальному складу, по своему характеру он, конечно, является типичным представителем «прекраснодушной» русской интеллигенции конца XIX в. и начала XX в. Русская интеллигенция этого периода как класс явление уникальное. Иностранцам трудно понять или почувствовать сущность этого явления, как вообще трудно измерять все русское «иностранным аршином».

Русский интеллигент — это не буржуа, его нельзя вместили ни в разряд «интеллектуальных работников», ни в класс «интеллектуалов». Различие между этими классами будет примерно таково, какое намечается между богатыми фермерами и ранчерами Америки и русскими помещиками, какими их описывают, скажем, Тургенев, Толстой или Бунин. Занятия примерно те же самые, а люди — разные, и быт иной. Русский интеллигент — это и профессия, и происхождение, и мировоззрение, и образование, и еще что-то ...неуловимое и необъяснимое. Образованность, наивная вера в прогресс, благородство, народничество, богоискательство, принципиальность, либерализм, неверие и анархизм — вот те черты, которые легче всего было найти в русской интеллигенции.

Таким типичным интеллигентом был отец Паустовского, таким был он сам. Из отрицательных черт он унаследовал недоверие и ненависть к дореволюционному строю России. Это — две травмы в его душе, два темных пятна на его духовном портрете.

Не веря в личное бессмертие так, как об этом учит христианская религия, Паустовский верил в своего рода коллективное бессмертие мыслей, идей, художественных ценностей. Мир в целом не подвержен тлению. Человек, согласно Паустовскому, преобразуя этот мир и создавая новые ценности, новые реальности, в какой-то степени участвует в «вечности» этого мира, во всяком слу-

чае, до тех пор, пока будет существовать человечество. В мирозерцании Паустовского есть нечто от бытийственного монизма Плотина. Он самого себя сознает и ощущает во времени как частицу мироздания и находит в этом успокоение.

Паустовский — аполитичен. Ему, лирику и романтику, чужд пафос борьбы за политические идеалы, за власть. Он тяжело переживал крушение русской культуры, ему претили насилие и жестокость революции. Поначалу он верил в революцию, верил, что революция может «внезапно переменить людей к лучшему и объединить непримиримых врагов»¹²⁾, поэтому он встретил ее с мальчишеским восторгом:

«Острый воздух революционной зимы кружил голову. Туманная романтика бушевала в наших сердцах. Я не мог и не хотел ей противиться. Вера во всенародное счастье горела непотухающей зарей над всклоченной жизнью. Оно должно было непременно прийти, это всенародное счастье. Нам наивно казалось, что порукой этому было наше желание стать его устроителями и свидетелями... А это происходящее то радовало, то восхищало, то казалось неверным, то великим, то подменявшим это величие ненужной жестокостью, то светлым, то туманным и грозным, как небо, покрытое свитками багровых туч»¹³⁾.

Паустовскому казалось, что в каждом человеке имеются зачатки доброй воли и что именно достижением революции будет создание таких условий, таких новых устоев жизни, в которых свободный человек сможет развить все свои духовные дарования. Но суровая действительность скоро разбила мечты молодого писателя; каждый день она «швыряла ему в лицо» жестокие доказательства, что в человеке есть много иррационального, много злого, много жестокости и ненависти... Иногда ему казалось, что он попал в совершенно иной мир, реальность казалась ему бредом.

Паустовский сам пишет, что его идеалистическое воспитание не позволило ему принять революцию целиком. Он понял, однако, что возврата нет, что нет другого пути, чем тот, по которому пошел русский народ, и осознание этого помогло ему примириться с действительностью. Это признание звучит как покорность судьбе. По понятным причинам Паустовский не мог писать откровенно

¹²⁾ К. Паустовский, «Начало неведомого века», Собрание сочинений, т. III, стр. 578.

¹³⁾ Там же, стр. 601.

о том, что он думает о наступившей действительности. Многие темы он обходит глухим молчанием.

Сердце Паустовского полно любви. Он любит весь мир, все прекрасное, благородное, доброе. Портрет писателя не был бы закончен, если бы не отметить его чистого, целомудренного отношения к женщинам. Я, конечно, имею в виду тех женщин, которые выступают в его произведениях. Но так как его произведения по большей части автобиографичны, то и высказывания на эту тему его героев являются выражением мнения самого автора.

В творчестве Паустовского мало эротики. Но там, где она встречается, она просветлена, сублимирована. Это не любовь горячей страсти, ревности, чувственного вожделения, а скорее любовь, выросшая из задушевной общности и духовной близости к любимому лицу, нежная и спокойная любовь.

Здесь нам кажется важным не только сказать, что сам писатель говорил на эту тему, но и показать, как он об этом говорил. О любви может говорить и профессор физиологии, и поэт. Тема — одна и та же, трактовка же будет столь различна, как небо и земля. Приведем хотя бы несколько примеров.

Паустовский вспоминает о своей первой, отроческой любви к девушке, с которой ему надо было расстаться:

«Я думал о Лене, и у меня тяжело билось сердце. Я вспоминал запах ее волос, теплоту ее свежего дыхания, встревоженные серые глаза и чуть взлетающие тонкие брови. Я не понимал, что со мной. Страшная тоска сжала мне грудь, и я заплакал ... Гораздо позже я понял, что жизнь по непонятной причине отняла тогда у меня то, что могло бы быть счастьем»¹⁴⁾.

Счастье любить и быть любимым пьянит душу молодого человека:

«...лицо у меня горело, сердце билось жадно и гулко, губы были соленые, будто в крови. Море шумело то справа, то слева ... Земля качалась, и золотой каруселью несло вокруг меня, позванивая и подрагивая, небо... пьяный туман окутал голову ... Я пришел домой утром. На душе было чисто, будто я омыл ее водой со снегом... Тихо кружилась голова. «Отчего это так хорошо, отчего?» — спрашивал я едва слышно. Мне жутко вспомнить все до конца. Я снова выхожу...»¹⁵⁾

¹⁴⁾ К. Паустовский, «Далекие годы», Собрание сочинений, т. III, стр. 153, 155.

¹⁵⁾ К. Паустовский, «Романтики», Собрание сочинений, т. I, стр. 61, 62.

Однажды Паустовский посетил «бунинские места», в частности, город Елец. Уже возвращаясь, он сидел на вокзале в ожидании поезда и читал рассказ Бунина «Легкое дыхание». Его внезапно поразила мысль, что именно этот Елец был тем городком, где, согласно рассказу, жила Оля Мещерская:

Все внутри у меня дрожало от печали и любви. К кому? К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской... Я был уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской, и ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться.

Но я прошел мимо, ничего не зная. О, если бы я знал! И если бы я мог! Я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле.

Я уже любил эту девушку. Я содрогался от непоправимости ее судьбы... Я ... наивно успокаивал себя тем, что Оля Мещерская — это бунинский вымысел, что только моя склонность к романтическому приятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке¹⁶).

Как-то Паустовскому пришлось заночевать в далеком Соликамске, в гостинице, бывшей раньше монастырским подворьем. В общей спальне ему отвели койку. На соседних койках в полутьме спали две девушки — практикантки из Ленинграда:

«Обе они показались мне красавицами, очевидно потому, что у них обеих разметались по подушкам золотые косы... Я тихо лежал, чтобы не разбудить девушек, и долго не мог уснуть, слушая, как они то спокойно дышат, то вздыхают во сне. И почему-то обе они представились мне, хотя я их не знал и не видел, очень родными, как мои младшие сестры ... И я благодарил эту крошечную ночь в этой немыслимой русской глуши за теплоту девичьего дыхания — мне чудилось, что я слышу едва заметный ветерок на своем лице — за легкую свою дремоту, за счастье ощущать рядом с собой целомудренную свежесть этих двух девушек, их легковейный, задумчивый сон¹⁷).

Каким душевно тонким и целомудренным человеком надо быть, чтобы так переживать подобного рода встречи.

А вот как удивительно пишет он о мимолетной встрече с двумя деревенскими девушками:

¹⁶) Из предисловия Паустовского к Собранию сочинений Бунина, «И. А. Бунин», стр. 7, Москва, «Московский рабочий», 1961.

¹⁷) К. Паустовский, «Книга скитаний», «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 1964.

«Что может быть лучше этой неожиданной девичьей улыбки на глухой полевой дороге, когда в синей глубине глаз вдруг появляется влажный ласковый блеск и ты стоишь, удивленный, будто перед тобой сразу расцвел всеми своими сияющими цветами, весь в брызгах и пахучей прелести, куст жимолости или боярышника?»¹⁸⁾

Паустовскому достаточно увидеть женскую красоту в любом ее проявлении, чтобы глубоко и горячо переживать волнующую встречу с ней.

В биографическом очерке об Андерсене Паустовский пишет, что в свое время ему казалось, что от книги Андерсена исходила удивительная и душистая, как дыхание цветов, человеческая доброта. Мне кажется, что эти слова смело можно отнести к самому Паустовскому. Людей можно судить по тому, как они относятся к детям. Паустовский нежно любит детей и хорошо понимает их. Это видно, прежде всего, из его сказок. Но в его собственной жизни был случай, когда ему пришлось опекать маленькую девочку. Паустовский пишет:

«С тех пор страх за жизнь этого хрупкого, как стрекоза, существа держал меня за горло и за сердце, и не отпускал... Так я жил в состоянии страха, отчаяния, жалости и умиления. Все эти чувства сливались в одно, не имевшее имени. Оно то ослабевало, то захлестывало болью даже от такого пустяка, как вытаскивание занозы из худенького и дрожащего пальца...

До сих пор я не понимаю, почему я в те дни не поседел от отчаяния. Я боялся всего: палящего солнца (мне все время чудились солнечные и тепловые удары у девочки), обрыва над морем (ей ничего не стоило сорваться с него и разбиться насмерть...), холодных ночей (девочка наверняка должна была простудиться), штормов с их ветрами, голода...

Тот, у кого нет детей, никогда не поймет, как близко от нас, где-то совсем рядом, лежит бессмысленный мир трагических случайностей. И вряд ли поймет, что такое всепоглощающая любовь»¹⁹⁾.

У Паустовского было большое горячее, полное любви к людям сердце. Недаром на торжестве по поводу семидесятилетия писателя люди отмечали его доброту, отзывчивость, честность и чуткость к чужому горю. Недаром после его смерти толпы про-

¹⁸⁾ К. Паустовский, «Приютная трава», Собрание сочинений, т. V, стр. 385.

¹⁹⁾ К. Паустовский, «Повесть о жизни» (Бросок на юг), стр. 374, 375.

стых деревенских жителей спешили, часто издалека, отдать последний долг почившему. Недаром эти люди, работая всю ночь, засыпали овраг и проложили тропу к месту на берегу реки, где его и похоронили...

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КРИТИКА

Отечественная критика долгое время не миловала Паустовского. Первую его книгу «Морские наброски», изданную в 1925 г., вообще обошли молчанием. Следующая книга, «Минетоза» (1927 г.), вызвала сокрушительную критику. Его упрекали, прежде всего, в отрыве от жизни, в том, что его герои живут вне времени, вне революции. Согласно первоначальному мнению советских критиков, Паустовский — это романтик, черпающий материал для своих книг из литературы, а не из реальной жизни. Ему ставили в вину, что он бежит из реального мира в область фантазии. Одним словом, Паустовский не проникся духом социалистического реализма.

Что некоторые произведения Паустовского слабы, отрицать не приходится. Он сам это признал и на словах и на деле, уничтожив некоторые из них. Но атака советских критиков шла не по правильной линии. Во-первых, судили Паустовского по его слабым произведениям, как бы обрадовавшись, что есть к чему придраться, судили по принципу *pars pro toto*. Ими было получено задание осудить Паустовского, и делали они это, конечно, поражая его самые уязвимые места.

Были и такие критики, которые считали, что Паустовский подражает Северянину, Вертинскому (*sic!*), Грину. Между Грином и Паустовским отчасти было нечто общее, а именно: мечтательный романтизм. Но Грин писал фантастические романы, тогда как Паустовский описывал реальные лица, события, места действия. Он только порой «подцвечивал» и «подсвечивал» реальную жизнь, а это нельзя ставить в упрек писателю. Литература ведь не хроника!

Тон критики резко изменился, когда вышел в свет «Кара-Бугаз» (1932 г.). С появлением этой книги Паустовский сразу выдвинулся в первые ряды русской литературы. «Кара-Бугаз» произвел фурор. Книгу хвалили, книгу читали «нарасхват». Критики сходились в мнении, что «Кара-Бугаз» представляет собой новый литературный жанр, объединяющий в себе элементы худо-

жественного очерка, драматической новеллы и психологического эскиза.

Два года спустя, в 1934 г., вышла в свет «Колхида», принятая критикой не менее благожелательно. Слава Паустовского упрочилась. И хотя время от времени казенные критики не переставали упрекать Паустовского в тех же, что и раньше, грехах (отрыв от жизни, индивидуальность взглядов, отсутствие «непосредственного и оперативного отражения текущих событий» и т. п.), тем не менее доминирующий тон критики был благоприятным. Например, после выхода в свет книги «Черное море», критик М. Ковровский отметил, что Паустовский написал превосходную книгу, оправдав ею романтику и показав, что романтика «не нуждается в оправдании» (!).

«Мещерская сторона», вышедшая в свет в 1939 г., вызвала восторг и всеобщее признание. С. Львов отметил, что зрелое и тонкое мастерство писателя трудно поддается анализу; что его секрет и очарование трудно передать. А. Дерман считал, что Паустовский имеет все права на почетный титул лучшего пейзажиста в современной русской литературе. Хорошо написал А. Роскин, что многие произведения Паустовского — это произведения живописи, созданные средствами словесного мастерства. Их можно было бы вешать на стену, если бы только для подобных картин существовали рамы.

КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР

Есть писатели, которые сразу находят свою «линию», свой жанр, и не изменяют их впоследствии. Их творчество можно представить в виде ровной горизонтальной линии. Не так было с Паустовским. Его творчество следовало бы изобразить в виде зигзагообразной восходящей линии, лишь в позднейшем периоде перешедшей в прямую. Паустовский часто принимался за то, что было ему чуждо, и это сильно отражалось на его творчестве.

Сперва общие замечания отрицательного характера.

В творениях Паустовского очень ярко выступает, вольная или невольная, предвзятость автора к дореволюционному строю. В этой области его суждения часто пристрастны, тенденциозны и даже карикатурны. У него нет, кажется, ни одного места, где он сказал бы что-либо положительное о духовенстве, о религии, о чиновном классе, о Белой армии. Наоборот, при всяком удобном случае он рисует их сугубо темными красками. От этого худо-

жественность изображения снижается, чувствуется бутафорность персонажей. Конечно, Паустовскому как писателю смешно было бы ставить требования, чтобы он был монархистом или верующим человеком, но от него можно требовать художественного правдоподобия. План эстетического образа в этой области у него не выдержан.

Есть у Паустовского несколько мест, которые своим стилем и содержанием являются полным диссонансом в творчестве этого писателя-эстета: они циничны до отвращения²⁰).

Также в области религии. Культурный человек может быть и атеистом, но он должен иметь чувство меры и такта, когда он говорит о религиозных предметах; кощунство ему не к лицу. Паустовский, несомненно, культурный человек, и, вместе с тем, у него есть несколько недопустимых, с точки зрения этики и эстетики, антирелигиозных выпадов²¹).

К недостаткам некоторых повестей и рассказов Паустовского надо отнести также ненужное осложнение фабулы деталями, историями и персонажами, не сращенными органически с основным действием и потому ненужными, лишними. Возьмем, например, повесть «Дым отечества». В ней рассказывается о том, как некоторая часть советской интеллигенции встретила Вторую мировую войну и как ее пережила.

Повесть эта, сама по себе интересная, совершенно напрасно осложнена введением лишних персонажей: Марии Альварес, Рамона Перейро и его маленького брата. Эти испанцы, случайно попавшие в СССР, не имеют никакой связи с основным течением фабулы. Втиснутые в рамки истории основных героев повести, они перегружают основную структуру, однобоко ее выпячивают.

В некоторых рассказах Паустовского встречаются «дублированные» персонажи, как, например, советские brave капитаны, похожие друг на друга как близнецы, или же борец Довгелло, выступающий в другом произведении под фамилией Заремба.

Некий параллелизм автобиографических деталей, встречающихся в различных произведениях, тоже надо отнести к их структурным недостаткам²²).

²⁰) К. Паустовский, «Романтики», Собрание сочинений, т. I, стр. 56; «Блистающие облака», т. I, стр. 233.

²¹) «Романтики», т. I, стр. 39; там же, стр. 170. «Блистающие облака», стр. 253. «Черное море», т. II, стр. 79.

²²) Сравнить «Повесть о жизни» с «Романтиками».

Изображение некоторых героев страдает отсутствием цельности и последовательности. Некоторые поступки этих героев не оправданы их биографией и поэтому неожиданны и неубедительны. Возьмем для примера капитана Гранта из «Лихорадки». Из бессердечного бизнесмена он внезапно преображается в горячего революционера, решившего даже переехать на жительство в Советский Союз! Или, например, капитан Ривьер из рассказа «Сардинки из Одьерна»: это человек, потерявший чувство собственного достоинства, подлец и предатель, находящийся на самом дне нравственного падения. И вдруг, без какого-либо убедительного объяснения, автор превращает его в благородного социалиста и защитника обездоленных рыбаков. В жизни, хотя и редко, бывают духовные перерождения. Автору, однако, следовало бы показать, почему и как это перерождение наступило. Тогда это звучало бы более убедительно.

Вообще надо сказать, что наименее удачны у Паустовского военные рассказы и рассказы на «заграничные» сюжеты. В первых — много предвзятости, картонности, плакатности²³); во-вторых — надуманные герои, речь которых представляет собой мнимый, бутафорский язык.

Отметим еще одну особенность: Паустовский нигде, собственно говоря, не пишет о деревенской жизни. Он сам родом из казаков-землепашцев. Летние месяцы своего детства он провел в деревне. Его родственники жили в селе, по соседству с Городищем. И тем не менее деревня с ее трудовой жизнью, с ее горем и радостями, с обычаями и проблемами совсем вне поля его зрения. Судя по тому, как он пишет о лесных хуторах, об отдельных крестьянах, можно было бы предполагать, что и в этой области Паустовский мог сказать много и хорошо. Но не будем судить художника за то, чего он не сделал. Отмечаем это в порядке сожаления, а не в порядке критики.

ОБЗОР ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Жанр

К какому литературному жанру следует отнести творчество Паустовского? На этот вопрос трудно ответить кратко. Его жанр многообразен, его творчество обильно. Почти нет такого вида ли-

²³) См. «Английская бритва», «Велые кролики» и др.

тературного творчества, которого бы Паустовский не испробовал в течение своей долгой творческой жизни.

Попробуем сгруппировать произведения Паустовского в некоторого рода классы.

Итак, к первому классу отнесем его автобиографические повести. Сюда в первую очередь надо отнести его «Повесть о жизни», состоящую из следующих книг: «Далекие годы» (1946 г.) «Беспокойная юность» (1955 г.), «Начало неведомого века» (1958 г.), «Время больших ожиданий» (1960 г.), «Бросок на юг» (1962 г.) и «Книга скитаний».

«Повесть о жизни» — художественная биография; ею Паустовский создал новый литературный жанр автобиографической повести, состоящей из новелл. Отечественная официальная критика встретила появление этой повести довольно холодно. Автора обвиняли, что он субъективно выбрал и субъективно осветил факты, нарушил сложившиеся оценки и представления, исказил историческую перспективу. Упреки эти вздорны. «Повесть о жизни», хотя и не составлена в форме дневника, несомненно принадлежит к мемуарной литературе. А мемуары — это не хроника и не учебник истории. Мемуарист рассказывает о своих личных переживаниях, о своем жизненном опыте, о своем индивидуальном отношении к событиям, людям, местам.

Паустовский рассказывает о своей жизни искренне и интересно. Тон его повествования интимный, душевный. Читатель верит тому, что узнает о жизни писателя.

В фильмах иногда используется трюк, состоящий в том, что один план «налагается» на другой: например, сквозь лицо артиста просвечивает другой план с разными лицами, меняющимися обстановками и т. п. Этим у зрителя создается впечатление, что данное лицо вспоминает все то, что мелькает, как в движущейся панораме, на втором плане. Нечто подобное этому мы встречаем в «Повести о жизни». Перед читателем всегда налицо два героя повести или, вернее, тот же самый герой в двух планах, в двух ролях: один — это писатель вспоминающий, взрослый, умудренный опытом; второй герой — это он же, только *тогда-то* и *там-то*, согласно развивающемуся действию в прошлом. Второй показывает себя, первый объясняет, комментирует.

Такая двупланность имеется и в другом отношении: эпическая линия в этой повести переплетается с лирической. Это прием трудный, но Паустовскому он удался замечательно. У него это звучит, как правильное и приятное для уха сочетание тона с обертоном.

В «Повести о жизни» мастерски вставлены эпические рассказы. Они вставлены так умело, что не создают впечатления разноголосицы в стиле и настроении. Некоторые главы этой повести могли бы быть совсем самостоятельными рассказами. В действительности некоторые из них и были написаны совсем отдельно, как, например, рассказ о «могилевских дедах». Но они нашли свое органическое место в «Повести о жизни». Такой жанр, состоящий из отдельных рассказов и новелл, дал широкую возможность автору сочетать эпический материал с основным автобиографическим материалом произведения.

Ко второму классу произведений Паустовского отнесем *повести и романы с наличием автобиографического материала*, отданного в распоряжение данного героя. Здесь эпический и вымышленный материал преобладает, как, например, в «Романтиках» и «Блистающих облаках». «Романтики» вышли в свет в тридцатых годах, но задуманы были много раньше, во время Первой мировой войны. Герой этого романа Максимов в какой-то степени является двойником самого автора. В уста Максимова Паустовский вкладывает свои мысли. Максимов — молодой писатель, ищущий своего места в жизни и еще не совсем определившийся в своих взглядах, поступках, характере. Материал для этого романа Паустовский собирал очень долго; поэтому его содержание несколько мозаично. Читатель, уже знакомый с «Повестью о жизни», находит много общих мест в обоих произведениях. Однако то, что в «Повести о жизни» выглядит правдоподобным, логически связанным и органически сращенным, в «Романтиках» ощущается как рыхлый материал, рассыпающийся на фрагменты. В «Романтиках» кредо писателя еще не определено ни по отношению к жизни, ни по отношению к искусству. Вообще об этом произведении трудно иметь цельное суждение: Паустовский его задумал и начал писать в то время, когда был еще неопытным писателем, а вышло оно в свет в 1935 г., почти двадцать лет спустя, когда к Паустовскому уже могли быть применимы другие требования, другие критерии.

Хороши у Паустовского *биографические очерки*. Он пишет портреты художников, поэтов, писателей слегка в субъективных тонах. В какой-то степени он изображает их такими, какими хотел бы их видеть. Он как бы всматривается в создаваемый им облик и ищет ответа на вопрос: как творил данный художник?

Иногда чувствуется, что это он сам говорит устами данного героя, высказывает свои собственные мысли об искусстве.

Рассмотрим более подробно очерк о художнике Оресте Кипренском и заметим, что у Паустовского иногда ложка дегтя портит всю бочку меда.

Сам по себе очерк о Кипренском написан очень интересно. Но в нем есть деталь, удивляющая читателя своей необоснованностью. Там есть такое место:

«...Кипренский был не нужен тогдашней николаевской России, как были ей не нужны Федотов и Пушкин, Рылеев и Лермонтов, Гоголь и Иванов.

Кипренский прожил короткую жизнь. Она началась блестяще, но окончилась глупо и печально. Россия сжала его за шею и медленно гнула к земле, пока не поставила на колени перед знатью, перед царем и Бенкендорфом. И Кипренский-художник сбился с пути и умер гораздо раньше, чем спился и умер Кипренский-человек»²⁴).

Этот отрывок режет ухо своей фальшью. Как надо понимать утверждение, что «николаевской» России не нужны были Пушкин, Лермонтов, Гоголь и другие? А разве они были бы нужны России «сталинской» или «хрущевской»? Пушкин и Лермонтов понятны на фоне имперской культуры России, но не на фоне социалистического реализма. А правда ли, что Кипренского «заела среда»? Ничего подобного! Сам Паустовский показывает нам Кипренского как талантливую кутилу и неуравновешенного тщеславного человека, растратившего свой талант по своей собственной воле или, вернее, вследствие своего безволия. И падение Кипренского состоялось не в России, где он пользовался блестящим успехом, а в Италии, в связи с убийством его натурщицы. Кипренский был выброшен из общества. Он затаил обиду.

«...Уходило много денег. Кипренский ради заработка был готов на все...

Падение художника шло с неизбежностью. Кто знает, понимал ли Кипренский всю глубину своего душевного несчастья, вызванного слабостью воли, погоней за житейским успехом, отсутствием твердых вкусов и взглядов?

Если он и не понимал этого, то все же чувствовал, как крепнет в нем

²⁴) К. Паустовский, «Орест Кипренский», Собрание сочинений, т. IV, стр. 136.

человек ничтожный и пошлый и теряется в туманах прошлого образ гениального и веселого юноши, сына романтического века»²⁵).

Так при чем же здесь «николаевская» Россия, которая якобы «сжала его за шею и медленно гнула к земле»? На этом примере мы ясно видим, как теряет художественность произведения от поспешия закона правдоподобия.

Мы уже писали, что от советских писателей требовалось «отображение советской действительности». Так возник новый литературный жанр *производственных очерков*. Паустовский высказывался против литературного творчества «по социальному заказу», но, как видно, и ему пришлось отдать дань этому виду творчества. Как тяжело это писалось, видно из следующего. Начал он писать повесть об Онежском металлургическом заводе в 1932 г., но лишь в 1958 г. этот очерк был напечатан. Паустовский вспоминает:

«...Я начал писать, но ничего у меня не получалось...»²⁶)

Навязанная задача связала писателя. Она не была в духе его творческих вкусов и способностей. Здесь не было места для полета воображения, не было фона для лирики. Собранный материал лег в основу повести «Судьба Шарля Лонсевиля», изданную в 1933 г. Повесть эта неудачна, в ней чувствуется тенденциозность в освещении эпохи, людей, событий. Заметна и невыдержанность фабулы. Приведем один пример литературной «клюквы», допущенной Паустовским в этой повести. По ходу повествования следует, что жена Лонсевиля, французского инженера, участвовавшего в наполеоновской кампании и затем взятого в плен русскими и поставленного на работу заведующим Онежским металлургическим заводом, после смерти мужа приехала из Франции в Петрозаводск, чтобы посетить его могилу. Жена Лонсевиля, конечно, француженка, никогда в России доселе не бывавшая и, по видимому, не знающая русского языка (откуда ей знать его?). И вот она пишет длинейшее письмо своей подруге во Францию

²⁵) К. Паустовский, «Орест Кипренский», Собрание сочинений, т. IV, стр. 167.

²⁶) «Онежский завод», Собрание сочинений, т. VI, стр. 236.

об... истории восстания русских мужиков! Но этого еще мало. В этом письме имеется следующий отрывок, в котором рассказывается о посещении этого места Петром Великим и описывается сцена между царем и местным священником:

«— Поп, — сказал Петр тихо, — про тебя мне доносили многое. Кожу сдеру!

Поп воздел руки, вытаращил глаза и крикнул:

— Еретиков изведу заодно с их семенем — царя не побоюсь!

Петр сплюнул и вышел.

...Отец Серафим вытер бороду, где застряли кусочки вареной моркови, попрощался и ушел, сотрясая прихожую топотом глубоких кожаных калош»²⁷).

Просто диву даешься, как мог Паустовский это написать. Ведь и стиль этого отрывка не эпистолярный, и в письме французенки это невероятно!

Примером *исторической повести* может быть «Северная повесть» (1938 г.), состоящая из трех частей, связанных между собой общностью темы и потомственной преемственностью персонажей. Это три отдельных новеллы, связанные общей идеей, заключающейся в том, что идеализм, жертвенность, духовное благородство и альтруизм никогда не пропадают даром. И несмотря на то, что в данный момент может казаться, что жертвы благородных людей и не принесли плода, но в исторической перспективе видно, что посеянные семена могут произрасти много лет спустя. Плоды того, что посеяли декабристы, пожинают их потомки.

В повести есть много интересного исторического материала и психологических наблюдений; есть в ней, однако, и много такого, что дало повод критике отрицательно оценивать это произведение. Подчеркнем здесь несколько отрицательных моментов.

Во-первых, сразу бросается в глаза инструментальный, «служебный» характер второй части повести. Она написана для того, чтобы как-то связать нити повествования и оправдать случайность встреч героев повести. Но шила в мешке не утаишь. Сам факт, что потомки трех героев первой части случайно встречаются во второй и третьей части, несмотря на то, что это люди не

²⁷) К. Паустовский, «Судьба Шарля Лонсевиля», Собрание сочинений, т. IV, стр. 55.

только разного происхождения, разной культуры, разной профессии, но и разной национальности, кажется надуманным и искусственно пригнанным. Переплетение судеб этих людей во времени и пространстве неправдоподобно.

Неправдоподобна, между прочим, и тирада, которую провозглашает израненный и полужамерзший Щедрин в первой части повести: она психологически не соответствует данной обстановке²⁸).

Стоило Паустовскому самому заинтересоваться сюжетом, требующим и исторического, и географического, и иных научных материалов — и у него получился шедевр. Я имею в виду «Кара-Бугаз», принесший славу своему автору (1932 г.). В основе этого произведения лежит *производственный материал*, но характер книги этим не исчерпывается. Я уже писала, что критика признала за этим произведением сочетание элементов художественного очерка, литературы путешествий, драматической новеллы и психологического эскиза. Как уголь при соответственных давлении и температуре превращается в алмаз, так и разнородный материал в талантливой литературной обработке преобразился в органическое, самородное литературное целое.

Можно сказать, что «Кара-Бугаз» был поворотным пунктом в писательской карьере Паустовского. Книга была встречена с восторгом не только читателями, но и критикой. Паустовскому удалось совместить несовместимое: этой книгой он отдал дань социалистическому реализму и при этом остался самим собой, не покрывив своей писательской совестью.

Построение этого *производственного романа* очень своеобразно: в нем нет сквозного героя, вокруг которого группировались бы факты, люди, события. Место такого героя занимает сам Кара-Бугаз, залив в Каспийском море.

Залив Кара-Бугаз, вблизи от которого простирается пустыня Кара-Кум, издавна считался нечистым местом, населенным жуткими духами, умертвляющими все живое. Воздух отравлен испарениями мертвых вод залива; вода непригодна для питья, густая от огромных количеств растворенной в ней соли и покрывающая язвами тело дерзнувшего выкупаться в ней человека; полное отсутствие растительной жизни в самом заливе и по его берегам; нестерпимая жара летом. Все это делало залив в глазах кочев-

²⁸) К. Паустовский, «Северная повесть», Собрание сочинений, т. II, стр. 202.

ников туркменов и редких путешественников, осмеливавшихся приблизиться к нему, преддверием самого ада.

Смелость исследователей и прогресс науки и техники развенчали миф о жутком таинственном заливе и рассеяли его inferнальный ореол. Место это оказалось хранилищем ценнейших химических материалов, в частности, — глауберовой соли. В заливе был построен химический комбинат, местность была электрифицирована, были оборудованы опреснители воды, построены производственные и жилые помещения, привлечено к работе местное население. Человеческая мысль и воля преобразили природу.

Мечта, превращающаяся в действительность, — эта тема пленила Паустовского. В результате увидела свет интереснейшая книга, захватывающая не только русского читателя, но и иностранного, о чем свидетельствует успех перевода этой книги на английский язык.

Паустовский искусно представил и развил задуманную тему. Он использовал огромный материал самого разнообразного характера. Научные данные он сумел преподнести так, что они не утомляют читателя. Так, например, сведения о Кара-Бугазе, о его историческом прошлом, изложены в письме лейтенанта Жеребцова, около ста лет назад впервые исследовавшего этот зловещий залив. Письмо выдержано в стиле своего времени и построено так, что читатель все время с большим вниманием следует за изложением развивающегося в нем действия. Читатель как бы чувствует себя на борту корабля, переносится в атмосферу и обстановку, в которой находились в свое время открыватели новых земель и стран, когда на земном шаре было еще много неисследованных углов, овеванных романтической дымкой неизвестности.

Основная тема — это сам залив. Люди, принимающие участие в освоении залива, исполняют как бы роль участников эстафетного пробега: они носители идеи и ее осуществители. И тем не менее личности этих тружеников интересны и живописны. Паустовский наблюдал их во время работы и поэтому смог изобразить их естественными и убедительными. Это люди идейные, загоревшиеся желанием не только исполнить техническую и экономическую задачу государственной важности, но и преобразовать природу, приобщить к творчеству местное население и создать ему, по возможности, культурные условия жизни и работы.

К тому же типу произведений, что и «Кара-Бугаз», следует причислить и «Колхиду» (1934 г.).

Мингрелия — это та Колхида, куда, согласно греческой легенде, отправились отважные аргонавты, чтобы похитить золотое руно. Мингрелия лежит почти на уровне моря. С трех сторон ее окружают высокие горы. Горы эти задерживают дующие с моря влажные ветры, и морская влага, охлажденная на скалистых утесах, низвергается на долину в виде частых ливней. От избытка воды внезапно переполняются горные ручьи и реки. Они стремительно несутся вниз, таща с собой вырванные с корнями деревья, волоча камни, неся огромные массы размытой почвы. Внизу, в долине, уклон речных русел минимален; воды становятся ленивыми, и река, встретив массы вливающейся в ее устье морской воды, выступает из берегов. Начинается бедственное наводнение. В свое время, очень давно, здесь были цветущие поля и сады. Но с течением времени возникли непроходимые болота, заросшие тропической растительностью. Влажный и жаркий климат Мингрелии был тяжел для людей — здесь свирепствовала лихорадка.

И вот возникает мысль осушить Колхиду: прорыть каналы, воздвигнуть дамбы, построить водохранилища. В процессе развития этого плана возникает проект улучшения почвы путем планомерного использования почвенных осадков. Следующий шаг — возделывание полей и садов на осушенных болотах.

Паустовский решил не только повторить тему, как человек преобразует природу, но и показать, как сам процесс участия в преобразовании природы влияет на людей: слабых укрепляет, сильным дает возможность применить энергию и находчивость, хороших людей притягивает друг к другу, дурных отсеивает. Он решил показать, что совместный труд, совместные переживания, совместная борьба со стихийными бедствиями — все это может развить дружбу и породить любовь среди людей разного характера, разного опыта и разной культуры.

В «Колхиде» Паустовский применяет новые литературные приемы и вводит элементы приключенческой литературы. Есть в этой повести и слабые места, но их немного. К ним надо отнести портреты капитана Чопы и ботаника Лапшина. Без Чопы, собственно говоря, можно было бы прекрасно обойтись. Он положительный тип, но в романе он лишний. Лапшин нарисован слишком схематически. Это — отрицательный характер, но на его портрете тени слишком сгущены; Лапшин изображен Паустовским как олицетворение отрицательного начала в людях, и поэтому он вышел неубедительным.

К этой же группе произведений следует отнести и повесть о том, как строился канал Волга-Дон («Рождение моря», 1952 г.), и очерк о постройке Березниковского комбината («Великан на Каме», 1934 г.), а также отчасти и повесть «Черное море».

С ранних лет Паустовский был влюблен в море: в живое море, которое он видал в Крыму, Одессе, Севастополе, на Кавказском побережье, и в море воображаемое, собирательное, о котором он читал и мечтал.

Паустовский уже не раз писал о море в своих более ранних произведениях, но на этот раз он задумал дать цельную картину Черного моря, написать о нем, как о самостоятельном герое. Он решил создать художественную энциклопедию Черного моря. Он долго вынашивал эту идею и, наконец, написал книгу, в которой читатель найдет все, что относится к этому морю, к его берегам, к его портам в историческом прошлом и в настоящее время, к его климату, к его водам, к его подводному растительному миру. Читатель знакомится с морем в тихую погоду и в бурю, в летнее время и в зимнюю стужу, когда северный ветер обдаёт водой корабли и мгновенно замораживает эту воду, так что корабли покрываются льдом и терпят аварии. Паустовский хотел показать — и это ему вполне удалось — что хотя с уходом на покой парусных судов исчезла давняя романтика моря, тем не менее она возродилась, как феникс из пепла, в новом виде. Море укрощается сильными людьми и современной судостроительной техникой, но оно навсегда останется опасной стихией.

Обобщая рассказы Паустовского, можно было бы их разделить на четыре группы: рассказы на «иностранные» темы, морские рассказы, военные рассказы и, наконец, рассказы «мещорского» типа.

Первые две группы рассказов писались Паустовским преимущественно в начале его писательской карьеры и имеют много недостатков. Перо писателя еще не окрепло, литературный вкус не определился. Конечно, мы судим их теперь, смотря сквозь призму его более позднего, более совершенного творчества, и поэтому наше суждение, может быть, слишком строгое. Если же мы сохраним перспективу, то и в ранних рассказах усмотрим элементы тех ценностей, которые помогали развитию таланта писателя.

Паустовский в молодом возрасте был пленен образом «морских волков», мужественных и сильных моряков типа «капитана-коммунара», боцмана Миронова, капитана Хаггера, Чопы и других. Он расточает им комплименты, и поэтому они получают у него уж слишком добродетельными.

Хороши рассказы Паустовского о южных городах-портах Черного и Каспийского моря. Он описывает их с подлинной любовью, в их прошлом и настоящем. Каждый порт имеет в его произведениях свой специфический образ.

Слабее и по содержанию и по стилю те рассказы, в которых Паустовский описывает экзотические страны и условия жизни там, где представители капиталистического мира эксплуатируют рабочий класс, будь то в городах, будь то на плантациях. Эти рассказы пропагандно-плакатны.

Самые неинтересные и слабые по форме у Паустовского рассказы из военной жизни времен Второй мировой войны. Видно, что этот жанр далек писателю, не по душе ему. Характер таких рассказов был предопределен и регламентирован работниками Политуправления армии, и Паустовский в качестве военного корреспондента был связан этими директивами.

Чувство отрадного облегчения испытывает читатель, когда он переходит к чтению рассказов о Мещерском крае. Они полны той свежести, какая обыкновенно наступает после грозы, когда в воздухе полно озона. В этих рассказах во всем блеске проявился уже зрелый талант писателя. Отпало все искусственное, экзотическое, надуманное; осталось классически простое. Эти рассказы художественно сжаты, закончены, целеустремленны. Они на уровне рассказов лучших писателей в русской литературе: Аксакова, Тургенева, Чехова, Куприна, Бунина. О них отозвался другой певец русской природы, Пришвин, сказав, что не будь он Пришвиным, то хотел бы писать так, как пишет Паустовский. В устах писателя это — высшая похвала.

Следующую группу произведений Паустовского составляют *сказки*. Они очень хороши и в них звучит та любовь к детям, о которой было упомянуто выше. Характерной особенностью этих сказок является смешение двух планов: реального и сказочного. Это новый тип повествования: рассказ-сказка или сказочный рассказ. Как пример упомянем прелестный рассказ-сказку «Дремучий медведь».

Совсем особо стоит «Золотая роза» Паустовского. Уже давно он мечтал написать книгу о том, как задумываются и пишутся писателями книги. Материалов у него было собрано много. В тот период, когда Паустовский читал лекции в Литературном институте, он делился своими мыслями о писательстве со студентами своего семинара по прозе. Постепенно зрело решение приступить к работе. Наконец, в 1955 г. книга была написана и издана. Успех «Золотой розы» был равен успеху «Кара-Бугаза».

Название «Золотой розы» Паустовский взял из трогательного рассказа-легенды о том, как из золотого порошка, собранного нищим из пыли и мусора в ювелирных мастерских, со временем была выкована золотая роза, которую нищий хотел подарить молодой женщине и которая должна была принести этой женщине счастье.

Нижеследующие слова Паустовского объясняют, почему он выбрал это название для своей книги о творчестве:

«Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая и шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же, как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, — все это крупинки золотой пыли.

...Золотая роза Шамета! Она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности. ...Подобно тому как золотая роза старого мусорщика предназначалась для счастья Сюзанны, так и наше творчество предназначается для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце»²⁹).

Итак, после сорокалетнего периода писательской деятельности, Паустовский решил поделиться своим литературным опытом со всеми, кого это интересует. «Золотая роза» — не учебник и не руководство; это тоже в своем роде литературное произведение, состоящее из разных рассказов, новелл, воспоминаний. Книга эта — сугубо личная, субъективная. Может, поэтому она читается с таким интересом. В некоторой степени это книга боевая, так как автор смело высказывает в ней свои мысли об искусстве, иногда идущие вразрез с официально принятой «догматической» точкой зрения*).

Очень ценны мысли Паустовского о писательском призвании. Писателя побуждает к его порой мучительному, но прекрасному труду зов сердца, зов своего времени и своего народа и, наконец, зов человечества. Писатель говорит потому, что он не может молчать. Как некие древние пророки, иногда вопреки собственному желанию, призывались «глаголом жечь сердца людей», так и писатель чувствует непреодолимую потребность рассказать о том, что он видит, слышит, думает, о чем мечтает, — по-своему! Тот

²⁹) К. Паустовский, «Золотая роза», Собрание сочинений, т. II, стр. 498.

*) См. статью А. Чемесовой (о «Золотой розе») «Путешествие без карты», («Грани» № 30). — Р е д.

не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости. Писатель, как и каждый художник, это проводник по прекрасному.

Писательские лаборатории имеют различный ассортимент инструментов, разные методы. Большинство писателей, конечно, пользуется записными книжками, как художники пользуются блокнотами для зарисовок. Паустовский ими не пользовался. У него острое художническое зрение и феноменальная память. О памяти он пишет, что она не только хранит накопленный материал, но и производит сознательный и подсознательный отбор собранного материала. Как волшебное сито, она задерживает самое ценное. «Пыль и труха уносятся ветром, а на поверхности остается золотой песок», из которого создается произведение искусства.

Когда материал накопился, созрел, тогда приходит время выразить собранное.

«Замысел, так же как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами, заметками памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, пока не доходит до такой степени напряжения, которое требует неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир рождает молнию — замысел.

Для появления замысла, как и для появления молнии, нужен чаще всего ничтожный толчок.

...Толчком может быть всё, что существует в мире вокруг нас и в нас самих»³⁰).

Интересно провести параллель между Паустовским и Буниным. Хотя это люди разного типа и писатели разного склада, тем не менее есть у них много общего в подходе к писательству. Мы уже упоминали, что Паустовским часто овладевала «жажда рассматривания» предметов внешнего мира. Он мог часами рассматривать черепок марсельской черепицы «морковного» цвета, выброшенный прибоем на берег, кусочек морской водоросли, краба. Он как бы вбирал в себя все детали рассматриваемого предмета, как бы отождествлялся с ним, внедрялся в него. То же самое имеется у Бунина³¹). Обоим писателям присущи «муки творчества»³²).

Писательство, согласно Паустовскому, это не ремесло и не

³⁰) К. Паустовский, «Золотая роза», Собрание сочинений, т. II, стр. 521.

³¹) И. А. Бунин, «Повести, рассказы, воспоминания» (Московский рабочий, Москва, 1961), стр. 385, 386.

³²) Там же, стр. 388.

занятие. Последние могут быть достоянием всякого человека, писательство — удел избранных; таким уделом избранных, конечно, является искусство в любом его виде. Но врожденного таланта недостаточно, чтобы стать писателем. Талант — это необходимое условие творчества; но есть еще и другие условия, вне которых талант не может раскрыться (например: эпоха, среда, труд).

Мастерство достигается опытом, трудом, терпением, тщательностью, критическим подходом к самому себе. Талант, «не отлитый в строгие формы культуры, после мгновенного света оставляет пороховой чад», писал Паустовский по поводу художника Кипренского.

Но кроме таланта и труда, нужно еще вдохновение. Вдохновение — это то, что позлащает вершины художественного творческого усилия. Вдохновение — это тот толчок, который передвигает рычаг, пускающий в ход все интеллектуальные и психические способности писателя, питает их духовной энергией, синхронизирует их действия и гармонизирует их звучания.

Для верующего человека вдохновение — это глас свыше, который глаголет «Да будет!» и на который душа художника отзывается «Да будет!». О божественной природе вдохновения говорили уже древние. Немецкий романтик Новалис утверждает, что чувство поэзии и вдохновения в близком родстве с чувством пророческим и религиозным. Об этом так прекрасно написал Пушкин в стихотворении «Пророк».

Но вдохновение — не гипноз. Это сознательное приятие зова и повеления, это — раскрытие своей души, это — сильнейшее напряжение всех способностей, развитых трудом. О вдохновении поэтически пишет и сам Паустовский:

«Вдохновение входит в нас, как сияющее летнее утро, только что сбросившее туманы тихой ночи, забрызганное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей целебной прохладой.

Вдохновение — как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок»³³).

Во второй главе «Золотой розы» рассказывается об опасном ремесле рыбаков. В одном из рыбацких поселков на Рижском побережье, на гранитном валуне Паустовский нашел высеченную

³³) К. Паустовский, «Золотая роза», Собрание сочинений, т. II, стр. 523.

надпись: «В память всех, кто погиб и погибнет в море». Этот эпиграф, по мнению Паустовского, применим и к писателям:

«Писатели не могут ни на минуту сдаться перед невзгодами и отступить перед преградами. Что бы ни случилось, они должны непрерывно делать свое дело, завещанное им предшественниками...»³⁴).

«Золотая роза» — это художественно выраженная философия писательства.

Итак, мы убедились: Паустовский — писатель «многожанровый»; однако, в превосходнейшей степени он выявил свой талант в автобиографической повести, в новелле и в рассказе-пейзаже.

ГЕРОИ ПАУСТОВСКОГО

Литературный термин «герой» утерял свое первоначальное значение. «Героем» повести или рассказа может быть лицо совсем не героического склада, а даже иногда — «антигероическим» лицом. Французское слово «персонаж» иногда подходит, иногда нет. Лучше уже английский термин «chief character», но русского подходящего термина, к сожалению, пока еще нет (разве что — «главное действующее лицо»?).

Итак, герои Паустовского многочисленны и разнообразны. Он пишет о всех слоях населения. Больше всего он любит писать о «людях простых и безвестных — о ремесленниках, пастухах, паромщиках, лесных объездчиках, бакенщиках, сторожах и деревенских детях — своих закадычных друзьях»³⁵).

Его герои — это «серые» на первый взгляд люди, скромные, честно исполняющие свое дело. И сам автор, и его герои органически не переносят «человеческой накипи». В них сильно развито чувство долга. Им чуждо все подлое и лицемерное, ложное. Это цельные натуры, у которых слово — дело. Любимые герои Паустовского это те люди, в которых он узрел то, что дорого и любимо ему самому. Хотя это люди разные, но у них есть нечто общее — гуманность. Гуманность эта, сознательная или подсознатель-

³⁴) К. Паустовский, «Золотая роза», Собрание сочинений т. II, стр. 501.

³⁵) К. Паустовский, «Вместо предисловия», Собрание сочинений, т. I, стр. 18.

ная, проявляется в повседневной жизни — по отношению к людям, к животным, к природе.

Некоторые персонажи (я сознательно употребляю это слово, так как героями их назвать невозможно) Паустовским не милуются. Это — представители «старого мира», представители официального дореволюционного строя, которые всегда были ненавистны либеральной интеллигенции: монархисты, священники, военные, помещики, дельцы и капиталисты, словом, те люди, на которых держалась Российская империя. Эти люди несимпатичны Паустовскому уже априори, и он заранее аттестует их согласно своим предубеждениям и антипатиям. От этого они у него выходят схематичными, стереотипными.

Паустовский сравнительно редко описывает физическую внешность своих героев. Нам не легко представить, как внешне выглядели его родственники, его приятели. Но иногда он делает исключение. Часто одной или двумя фразами метко рисует портрет данного лица³⁶).

Паустовский весьма умело создает так называемые «речевые» портреты. В зависимости от того, что и как говорит данное лицо, в нашем представлении возникает верный его облик. В этой области Паустовский достиг высокого совершенства. У него быстрый глаз, верный слух и «электронная» память. Пребывание на юге, например, дало ему галерею человеческих типов, их манер и разговоров. Особенно красочен, юмористичен и ярок одесский говор, представляющий собой несколько испорченный русский литературный язык. Так его портили, по большей части, еврей-одесситы. Эта «порча» была источником неиссякаемых шуток, анекдотов, хорошего заразительного смеха. А язык одесских торговцев, женщин легкого поведения, воров и всякого рода подонков общества — это фейерверк юмора!

Хороши у Паустовского типы солдат, матросов, крестьян. Для примера припомним сцену, когда в Городище появляется группа «стариков» — крестьян из соседнего села, приходящих из года в год поздравлять Паустовских с приездом на дачу. Паустовский не описывает каждого в отдельности: «старики» — для него нечто собирательное, групповое. Но стоит только кому-нибудь из них

³⁶) Например: «Через толпу протискался маленький человек. Он состоял из огромной клетчатой кепки, новых калош и острого носа, торчащего из-под кепки» («Начало неведомого века», Собр. соч., т. III, стр. 756). Кратко, но изобразительно!

заговорить, подать реплику, поддакнуть — и вы уже видите этого крестьянина в его индивидуальном своеобразии.

ЯЗЫК ПАУСТОВСКОГО

«Дорогой собрат, я прочитал Ваш рассказ «Корчма на Брагинке» и хочу Вам сказать о той редкой радости, которую испытал я: если исключить последнюю фразу этого рассказа «под занавес», он принадлежит к наилучшим рассказам русской литературы»³⁷⁾.

Так писал Бунин своему брату по перу, Паустовскому. Бунин был скуп на похвалы, требователен и строг к самому себе и к другим.

Такой отзыв из его уст — аттестат высокой степени. Я уже упоминала, какого высокого мнения о языке Паустовского был Пришвин. Эти свидетельства говорят сами за себя.

У Паустовского, несомненно, врожденный писательский талант. Но как алмаз преображается в бриллиант путем умелой и длительной шлифовки, так и Паустовский «приумножил» природные дарования посредством труда и дисциплины. Он был требователен к себе, и его труд не пропал даром: он достиг высокой степени совершенства в области владения «алмазным» русским языком. Знакомство со всеми слоями населения России обогатило его собственный язык. Для примера укажу, что рыбалка на Каспийском море научила его не только различным названиям рыб, рыболовной снасти, техническим выражениям и т. п., но и дала ему возможность составить для себя особый лексикон, например, разных названий ветров: трамонтан, бора, горишняк, гирловой, сгонный, низовка, верховка, керчак, левант и другие. В другом месте он пишет, что и раньше обладал большим запасом слов, но знал их поверхностно, в интеллектуальном, а не экзистенциальном порядке. Лишь со временем он научился узнавать эти слова наново — «на ощупь, на вкус, на запах». Он и раньше знал разные названия дождей, но лишь после долголетних блужданий по полям, лесам и озерам в любую пору дня и ночи, в любое время года — он доподлинно узнал, чем отличаются «дожди моросящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами — полосо-

³⁷⁾ Из частного письма Бунина, находящегося в частной коллекции Паустовского. Цитирую по Л. Левицкому: «Константин Паустовский», стр. 279. Советский писатель, Москва. 1963.

вые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (пролив-ни)»³⁸).

Лишь такое знание языка позволяет писателю безошибочно выбирать нужное слово и ставить его рядом с другим в текст так, чтобы у читателя в уме вспыхивал нужный смысл, тот подлинный смысл, который был задуман писателем.

Паустовский влюблен в русский язык. Он пишет:

«С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое громыханье грозы, детский шепот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей — сложных и простых, — для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения»³⁹).

Советский критик Т. Хмельницкая писала о Паустовском, что его язык лиричен и даже «романсен». Она заметила, что в своем творчестве он интересуется не столько самим предметом, сколько отношением к предмету; для него характерны не существительные, а прилагательные, эпитеты «изысканные и оценочные». Интересны ее замечания относительно музыкальности и поэтичности прозы Паустовского⁴⁰).

Об этой «наважденности» поэзией писал сам Паустовский.

О его любви и уважению к слову свидетельствует его высказывание, что четкая мысль требует четкого написания, и что если бы это было возможно, он писал бы только китайской тушью на плотной бумаге.

³⁸) К. Паустовский, «Золотая роза», Собрание сочинений, т. II, стр. 566.

³⁹) К. Паустовский, «Беспокойная юность», Собрание сочинений, т. III, стр. 330.

⁴⁰) Т. Хмельницкая, «Лирика в прозе», «Нева», № 8 за 1956, стр. 166.

«Паустовский в своей прозе старательно и вдумчиво работает над словом, приближая его к поэтическому языку. Это чувствуется в самом строе фразы, размеренном и музыкальном, в протяженном, медлительном его ритме. Выбор и расстановка слов чаще всего подсказаны тем стиховым источником, из которого черпает свои поэтические ассоциации Паустовский. Сквозь «магический кристалл» стихов видит Паустовский свои пейзажи, отзвуки стиховых строк звенят в воздухе, и даже сам строй его речи напоминает знакомые стиховые цитаты».

Один из древних поэтов сказал, оправдываясь, что если бы у него было больше времени, он написал бы короче. Чехов иронически советовал начинающим беллетристам, написав рассказ, вычеркивать начало и конец. А Паустовского поразила мысль Бабеля, что сила языка совсем не в том, что к фразе нельзя ничего прибавить, а в том, что из нее нельзя ничего больше выбросить.

Будучи по преимуществу художником внешнего опыта, Паустовский передает нам то, что его чувства — зрение, слух, обоняние — зарегистрировали и что его память сохранила, произведя соответственный отбор. Но все то, о чем он пишет, он пропускает сквозь призму своего собственного лирического и романтического восприятия мира. Он часто субъективизирует и персонифицирует предметы и явления природы. В подтверждение этого можно было бы привести много текстов. Приведем один из них, описывающий падение спиленной сосны (курсив в этой цитате и дальше мой. — Т. С. - Б.).

«Внезапно вся сосна, от корней до вершины, вздрогнула и застонала. ...Вершина сосны качалась, дерево начало медленно клониться к дороге и вдруг рухнуло, круша соседние сосны, ломая березы. С тяжким гулом сосна ударилась о землю, затрепетала всей хвоей и замерла»⁴¹⁾.

Этот психологистический подход будем иметь возможность отметить и позже.

Великолепны у Паустовского описания мещорских лесов. Он называет Мещору остатком лесного океана, а могучие древесные своды напоминают ему готические соборы. Сосновый бор устлан дорогим ковром из мягкого мха, и «в просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет». Словно для того, чтобы оттенить расстояние, чтобы выразить перспективу, Паустовский сравнивает «одинокий самолет, плывущий на головокружительной высоте» над лесом, с «миноносцем, наблюдаемым со дна моря»⁴²⁾.

Для Паустовского нет большего наслаждения, чем идти весь день таким глухим, «разбойничьим» лесом. А вечером, усталому, искать себе ночлег в лесу, по пути к какому-нибудь озеру:

⁴¹⁾ К. Паустовский, «Повесть о лесах», Собрание сочинений, т. II, стр. 321.

⁴²⁾ К. Паустовский, «Мещорская сторона», Собрание сочинений, т. IV, стр. 209.

«Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. Внизу, у подножия сосен, уже темно и глухо. Бесшумно летают и как будто заглядывают в лицо летучие мыши. Какой-то непонятный звон слышен в лесах — звучание вечера, догоревшего дня.

А вечером блеснет, наконец, озеро, как черное, косо поставленное зеркало. Ночь уж стоит над ним и смотрит в его темную воду — ночь, полная звезд. На западе еще тлеет заря, в зарослях волчьих ягод кричит выпь, и на мшарах бормочут и возятся журавли, обеспокоенные дымом костра.

Всю ночь огонь то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то очень далеко — кажется, за краем земли — хрипло кричит старый петух в избе лесника.

В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Еще все спит. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги рыбы, спят птицы, и только совы летают около костра медленно и бесшумно, как комья белого пуха»⁴³).

А вот описание леса в элегичном духе:

«Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде, в непроглядном мраке выли волки.

...Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряг. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисало над головой. От того, что облака почти касались верхушек берез, на земле было тихо и тепло»⁴⁴).

Здесь дождь описан, если можно так выразиться, в статическом состоянии. В другом месте Паустовский мастерски иллюстрирует дождь в его динамическом аспекте, дождь в нарастающем темпе, с перебоями:

«В лесу стало очень тихо. Потом в кустах послышался едва заметный шорох. ...Тотчас ей на ладонь упали две теплые капли дождя. Потом, помедлив, упала третья.

Зашевелились от ударов капель листья, запахло прибитой пылью. Где-то далеко прогремел ленивый гром.

Потом вдруг дождь припустил и начал часто сыпаться с неба быстрыми мелкими каплями. Чащи весело и торопливо зашумели, листва покры-

⁴³) К. Паустовский, «Мещорская сторона», Собрание сочинений, т. IV, стр. 210.

⁴⁴) Там же, стр. 202.

лась мокрым блеском. ...Песок промок, потемнел. Кое-где в колеях уже налились лужицы, и капли, ударяя по ним, оставляли пузыри»⁴⁵).

В этом кратком отрывке удивительная изобразительная сила. Художник действует на все чувства читателя: на слух, осязание, обоняние, зрение. Здесь и психологистические термины: *ленивый, помедлив, пропустил, весело и торопливо*. Этот набор эпитетов, так умело сопоставленных, достигает того, что читатель начинает чувствовать, зрительно воспринимать этот веселый летний дождь с его освежающим запахом озона, который, как кто-то метко выразился, пахнет, как свежее разрезанный арбуз.

Есть у Паустовского удивительное описание летней грозы в деревне. По своей художественной верности изображения оно не уступает даже бунинскому описанию грозы⁴⁶), хотя они разные: у Бунина — мир разбушевавшихся стихий вне человеческого восприятия, если можно так выразиться, мир в его стихийной первобытности, тогда как у Паустовского стихии созерцаются человеческим глазом и ощущаются человеческим сердцем и нервами. Здесь тоже много психологистических эпитетов. Я не буду приводить целиком этот отрывок, но отмечу лишь несколько выражений, характерных для стиля Паустовского:

«Мертвая тишина стояла вокруг. ...Даже листья не шевелились, испуганные грозой. ...На востоке поднялся мутный месяц. Он вышел навстречу туче совершенно один, брошенный всеми, — ни одной звезды не было видно за его спиной. Месяц бледнел при каждой вспышке молнии.

Потом, наконец, свежо и протяжно вздохнула земля. Первый гром прокатился через леса и ушел далеко на юг по зашумевшим от ветра хлебам. Он уходил, ворча...

Наконец обрушился ливень. Серые потоки лились на взлохмаченный парк»⁴⁷).

Зловещая сила надвигающейся грозы иллюстрируется не только объективными явлениями природы, но и реакцией живых существ: пес залез под веранду, повизгивал и не хотел выходить;

⁴⁵) К. Паустовский, «Повесть о лесах», Собрание сочинений, т. II, стр. 474, 475.

⁴⁶) И. А. Бунин, «Повести, рассказы, воспоминания», стр. 175, Московский рабочий. Москва, 1961.

⁴⁷) К. Паустовский, «Далекие годы», Собрание сочинений, т. III, стр. 287, 288.

люди шумели и перекликались, но им было не по себе; на сельской колокольне торопливо ударили в колокол, в знак того, чтобы люди заливали огонь в печах; жители дачи закрыли все окна и вьюшки в печах; в момент сильнейшего напряжения тетя Маруся не выдержала и ушла с веранды; в нервном нетерпении она повторяла: «Скорей бы дождь! Скорей бы дождь!»

А вот другие краткие описания грозы, в которых Паустовский так часто и так удачно употребляет прием персонификации:

«Гром громыхнул за краем земли и *неуклюже покатился* над лесом. Гром *ворчал* так долго, что казалось, он *обега*ет кругом всю огромную землю. Он затихал, когда *запутывался* в чаще, но, *выбравшись* на просеки и поляны, гремел еще *угрюмее*, чем раньше»⁴⁸).

И в другом месте:

«...из-за Оки заходила высокая гроза. *Ленивый* гром *потягивался* за горизонтом, как *заспанный силач* *распрямлял плечи*, и нехотя потряхивал землю»⁴⁹).

Теория художественной фотографии требует, чтобы при снимках пейзажей, для перспективы, на переднем фоне снимали какой-нибудь предмет: камень, колонну, край оконной рамы, архитектурный фрагмент. Это выявляет глубину пейзажа, выражает его трехмерность. У Паустовского есть несколько таких композиций, из которых одну приведем ниже:

Надвигалась гроза.

«Пассажиры торопливо подымали окна, смотрели на тучу. Молнии открывали в ней зловещие пещеры, воронки вихрей, мутные космы дождя. Огромные материки из черного пепла и седой золы валялись на землю. В страшной черноте все *вспыхивала и вспыхивала в блеске молний одна и та же белая сухая береза*»⁵⁰).

Паустовский пишет, что во время воробьиных ночей небо струится молниями, будто черные птицы бьют в испуге сотнями фосфорисцирующих крыльев. О молниях он пишет, что они «то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных

⁴⁸) К. Паустовский, «Старый челн», Собрание сочинений, т. IV, стр. 599.

⁴⁹) К. Паустовский, «Заячьи лапы», Собрание сочинений, т. IV, стр. 554.

⁵⁰) К. Паустовский, «Старый челн», Собрание сочинений, т. IV, стр. 600.

тучах, как вырванные с корнем ветвистые золотые деревья»⁵¹). Какое прекрасное сравнение!

Хороши у Паустовского описания морских штормов. Приведем одно из них, в котором автор не только в объективном порядке изображает разбушевавшуюся стихию, вид которой наполнял его самого «обморочным ощущением отчаяния и ужасающей красоты», но и иллюстрирует эту картину человеческим переживанием, дает психологистический комментарий:

«Какая-то старуха все время иступленно бормотала за дверью каюты одну и ту же молитву: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!» При сильных размахах парохода старуха, очевидно, пугаясь, обрывала молитву и только быстро говорила: «Крепкий, помилуй нас! Крепкий, помилуй нас»⁵²).

Как-то он открыл дверь рубки и «увидел впереди исполинскую стену разъяренного моря, *катившуюся на нас с космическим гулом во весь разворот горизонта...*»⁵³) Какая изобразительная сила в сочетании этих слов: «разъяренное море», «космический гул», «весь разворот горизонта!» Какая динамика!

Вода Черного моря была для Паустовского предметом долгих наблюдений: он мог часами рассматривать ее вблизи, он любовался ею издали. Он знает все ее виды, цвета, консистенции, прикосновения и удары. Когда он описывает бурю, он называет воду осатанелой, свинцовой, чугунной; но это та же самая вода, которая летом, в спокойную погоду, ласкает тело своей пеной, как прикосновением «влажных девичьих кос».

Величественно описание Сердоликовой бухты на побережье Черного моря, около Кара-Дага:

«Я увидел окаменелое извержение, поднявшее к небу пласты земной коры.

Могучие жилы лавы вздымались столбами из зеленых морских глубин и останавливали далекие облака.

Море не набегало волнами на каменные стены, а вспухало и медленно подымалось вверх, заливая с гулом пещеры. Потом оно так же медленно уходило вниз, как бы падало в пропасть.

⁵¹) К. Паустовский, «Золотая роза», Собрание сочинений, т. II, стр. 568.

⁵²) К. Паустовский, «Повесть о жизни», (Бросок на юг), т. II, стр. 399.

⁵³) Там же, стр. 400.

Вода выливалась шумными пенистыми водопадами из пещер, выносила в водоворотах водоросли, медуз и высасывала острый воздух подземелий, уходивших под многие миллиарды тонн окаменелой магмы»⁵⁴).

Паустовский, как и Бунин, обладает острым обонянием и умеет мастерски передать обоняемый запах. Но в отличие от Бунина, который реалистичен в передаче всякого рода запахов, и приятных, и отвратительных, Паустовский, в гармонии со своим эстетическим подходом ко всему окружающему, описывает почти всегда только приятные запахи.

Юг богат запахами вообще, а восточное побережье Черного моря — в особенности. И не удивительно, так как здесь растительное царство очень богато и разнообразно, а климат благоприятен. Об этом южном ароматном воздухе Паустовский пишет:

«Запахи то сплетались в тугой клубок, сжимая воздух до густоты сиропа, то расплетались на отдельные волокна, и тогда я улавливал дыхание азалий, лавров, эвкалиптов, олеандр, глициний и еще множества удивительных по своему строению и краскам цветов»⁵⁵).

В другом месте Паустовский пишет о шелковистом веянии роз, о дыхании листьев, о древесной коре, о горном снеге, о ручьях, о мяте и вине.

Эти ароматы часто перебивались более прозаичным запахом свежесмолотого и только что сваренного кофе, и — чаще всего — чадом баранины: вьедливым, шершавым, саднящим горло. Чад этот припоминал Паустовскому батумские шашлыки, лучшие на Кавказе. Батум, кроме того, насквозь пропах вином и мандаринами.

С Западной Европой у Паустовского ассоциируется запах паровозного дыма, горячего кофейного пара, хрустящего утреннего хлеба, перезрелых роз и табака.

Мир для Паустовского полон ароматов: сильных и пьянящих — южных; и тонких, едва уловимых подчас — северных.

Т. Хмельницкая писала о Паустовском, что «он передает не свет, а отсвет, не блеск, а отблеск, тончайшие, мглистые, перламутровые переливы света»⁵⁶). Это не совсем верно. У Паустовского,

⁵⁴) К. Паустовский, «Черное море», Собрание сочинений, т. II, стр. 153.

⁵⁵) К. Паустовский, «Повесть о жизни» (Бросок на юг), т. II, стр. 433.

⁵⁶) Т. Хмельницкая, «Творчество Пришвина», стр. 180, Советский писатель, Москва, 1959.

кроме этого, есть много и света, и блеска, и резких ярких цветов. Описывая рассветы на Азовском морé, например, он называет их «теплыми и ласковыми», когда небо на востоке нежно синее, когда звезды меркнут, уходя все дальше и дальше, «уменьшаясь и бледнея, в глубь неба», когда над прозрачной водой курится слабый туман, и в тени, падающей от лодки, утренняя вода приобретает «темный малахитовый цвет». Но бывали и иные рассветы, «зѣбкие, серые, сырые», и тогда волны были «красновато-мутные и белесая мгла клубилась на горизонте». «Черные, штормовые» рассветы были окрашены в «мутно-зеленые» тона, а перед ненастьем рассветы бывали «с алым, воспаленным небом»⁵⁷).

В другом месте Паустовский описывает небо, которое, как бы затеяв воздушную игру, проносило «по зениту туманные покрывала» слабых и бледных раскрасок: то сиреневой, с оттенком серебра, то лиловой, то розовой — как александрит. Особенно яркой кистью пишет Паустовский закаты солнца:

«...Небо пламенело, но уже не синим огнем, а цветом охры — рудым и диким. По небесному своду перьями, веерами, столбами, мощными горными пиками и островами были разбросаны багровые облака.

Солнце садилось. Его медный диск заливал горы зловещим заревом.

Невиданный этот пожар вечера становился с каждым мгновением резче, грубее. Он разгорался до последнего накала, чтобы потом мгновенно погаснуть»⁵⁸).

Рисуя южный ландшафт, Паустовский пишет, что солнце блистало, как бы заняв половину неба и как бы приблизившись к земле, тогда как разбросанные по листве кустов и деревьев цветы он сравнивает с мазками киновари, чистейших белил и охры.

Есть у Паустовского много отдельных сравнений и описаний, поражающих своей художественностью и меткой изобразительностью:

«многоярусные, тяжелослоистые, изорванные снизу в лохмотья архипелаги туч».

⁵⁷) К. Паустовский, «Беспокойная юность», Собрание сочинений, т. III, стр. 538.

⁵⁸) Там же, стр. 498, 499.

«сверкающий над этими тучами в бесконечной выси мирового пространства Сатурн, изливающий пепельный свет над лениво клубящейся громадой облачной земли».

«в долине свежо и тихо лежало утро».

«долины лежали внизу, как позеленевшие бронзовые чаши, налитые синей водой».

Трепещущую в корзинах скумбрию Паустовский сравнивает с синей ртутью, а зернистую поверхность полированных черепков марсельской черепицы — с сочным цветом моркови.

Казалось бы, что такой прозаический предмет, как паровоз, вряд ли может вдохновить писателя к художественному описанию, а вот — поди-ка! Паустовский и здесь показывает свое мастерство. Он изображает, как маслянистый паровоз останавливается возле водокачки и равномерно *швыряет* в небо свистящую струю стремительного пара, как бы отдуваясь после утомительного перегона.

Иногда, пишет Паустовский, вспоминая свои детские впечатления, он наблюдал, как проходил без остановки товарный поезд. Он «*вырывался из леса всегда неожиданно и неся к станции, накренившись и изгибаясь на закруглении*»:

«Мне казалось, что более красивого зрелища я никогда не видел. Горы плотного пара вылетали из трубы. Паровоз *кричал долго и тревожно*. Поезд с *размаху влетал* на станцию и *проносился, как головокружение*, — с железным лязгом, торопливым перебоем колес и дикими вихрями пыли. Казалось, еще немного — и он *подымет на воздух и унесет, как сухие листья, всех людей на станции*»⁵⁹).

Есть у Паустовского замечательные краткие описания, в которых имеются и цвета, и запахи, и звуки, и гармонирующее со всем этим внутреннее состояние человека:

«Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надыхал холодом на стекла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи. В эту ночь я проснулся

⁵⁹) К. Паустовский, «Начало неведомого века», Собрание сочинений, т. III, стр. 658.

от протяжного и приятного звука — пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой — сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась все прозрачнее, сквозь нее уже были видны далекие и нежные страны золотых и розовых облаков.

Ветра не было, но в саду всё падали и падали листья. Березы за одну ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым и печальным дождем»⁶⁰).

В одном месте Паустовский описывает гору Арарат: очень своеобразен психологический прием, который он употребляет, чтобы подготовить читателя к этому зрелищу. Он сперва описывает свою собственную реакцию, свое нетерпеливое движение в вагоне, и, когда читателя начинает обуревать нетерпение — когда же откроется волнующий вид? — Паустовский как бы отдергивает завесу, скрывающую от взора читателя величественную вершину Арарата:

«Ночью поезд поднялся на плоскогорье, и стало холодно. А утром я вскочил, когда первый квадрат солнечного света пополз, крадучись, из угла в угол купе.

Я бросился к окну и замер. Легкие мурашки побежали у меня по спине. Первым моим побуждением было разбудить всех моих спутников...

Я метнулся от одного окна к другому, к третьему, потом изо всей силы схватился за ремень, рванул раму и спустил ее. Вместе с холодным воздухом ворвалась в вагон резкость очертаний и чистота красок, — там, снаружи, в древнейшем и девственном небе вздымалась к самому зениту, закрывая весь край земли и половину неба, двугорбая снеговая гора. Это был Арарат. Снега его казались подтянутыми вплотную к солнцу. Блеск их наполнял воздух светящейся мглой»⁶¹).

В заключение главы о языке Паустовского, в качестве иллюстрации к тому, что было сказано о музыкальности, размере, ритме и звучании прозы Паустовского, приведем его описание горы Марух в нашей стихотворной интерпретации:

⁶⁰) К. Паустовский, «Подарок», Собрание сочинений, т. IV, стр. 641, 642.

⁶¹) К. Паустовский, «Повесть о жизни» (Бросок на юг), т. II, стр. 605.

«...мы прошли ущелие
и с обрыва
в лесу
увидели Марух.

Он горел в небе,
как голубой алмаз
в гранитной оправе...

Лагерь устроили
у подножья горы,
на берегу
горного озера.

Прозрачная вода,
цвета зеленоватой лазури
лежала внизу.

По ней плавали
сухие
коричневые
листья кленов.

Листья собирались в эскадры
и двигались очень дружно:
поворачивали,
как по команде
«все вдруг»,
а при малейшем ветре
срывались с места,
будто с якорей,
и,
перегоня друг друга,
уплывали
на середину озера.

Там вода горела
спиртовым огнем...

Налево,
цепляясь за отвесные
гранитные стены,

вздыхался лес,
такой же загадочный,
каким он казался
издалека.

Позади нас
шуршали осыпи.

А направо
я боялся даже смотреть —
там,
рванувшись к небу,
остановился
весь напряженный,
казалось,
до медного стона в своих жилах,
угрюмый,
непостижимый
Марух...

В одном месте,
очевидно из ледниковой пещеры,
летела по воздуху
широкая струя воды
и падала,
сосредоточенно шумя,
в озеро.

То была река — Азанда.

Она вливалась в озеро
со стороны ледников
водопадом,
а у нас под ногами,
на заваленном скалами пляже,
стремительным потоком
уходила под землю,
исчезала у самых ног
и засасывала водоворотами
в подземные страшные бездны
всё,
что мы бросали в воду...

За двенадцать километров
к югу
Азанда снова вырывалась
на поверхность
пенистым потоком
и опрометью неслась,
зажмурив глаза,
от внезапного солнца,
к Черному морю...

Я еще не знал,
какие могут быть тайны
у Маруха от нас,
но временами уже различал
розовые лишай на скалах,
медленное передвижение теней
— они крались к вершине,
чтобы погасить ее свет,
различал струи дыма,
катившегося,
погромыхая,
вниз по склонам Маруха.

Потом

я догадался,
что это не дым,
а пыль от осыпей.

Весь день

Марух стоял
против нас,
как бронзовый
позеленевший престол
какого-то исполинского
грозного
божества...

Вечером

Марух превратился
из бронзового
в сияющий до боли в глазах
золотой самородок

такой величины,
что его блеск,
очевидно,
был замечен даже на луне.

У берегов,
в синей воде,
лежали большие
плоские камни
цвета слоновой кости...

Во время закатов,
у подножия главного хребта,
я видел одно
из самых величественных
зрелищ на земле —
разлив такого
цветового блеска,
что казалось,
на этой высоте
над уровнем моря,
у наших глаз
появляется дополнительное свойство:
видеть гораздо больше красок,
чем в глубинах долин,
в степях
и на морских побережьях.

Но все же
я без сожаления ждал,
когда закат
начнет угасать.

Потому что я знал,
что в сумерках,
слабо просвеченных
далекими отблесками
моря,
заключено не меньше прелести,
чем
в горных закатах.

А потом
все стихало,
все дотлевало.

Тишина
садилась к костру
и долго смотрела,
как подергивались
сиреневым пеплом
последние угли.

Часто падали звезды...»⁶²⁾



Изобретателя оценивают по его достижениям, а не по неудачным опытам. О писателе надо судить не по его первым литературным шагам, а по тому, что он внес положительного в литературную сокровищницу своего народа, а тем самым — и всего человечества. Паустовского оценил не только русский народ, но и лучшие представители мировой литературы: он был одним из кандидатов на нобелевскую премию. Паустовский занял почетное место среди классиков русской прозы, так как, говоря словами Бунина, многое, что он написал, принадлежит к наилучшему, что было создано в русской литературе.

⁶²⁾ К. Паустовский, «Повесть о жизни» (Бросок на юг), т. II, стр. 486.

Библиография

ДУХОВНЫЕ СУДЬБЫ РОССИИ

О России пишется много книг. Больше плохих, меньше хороших и реже всего — книг всеохватывающего значения. Спрос на хорошие книги о России на международном рынке велик, и конкуренция поэтому тоже велика. Чтобы автор в таком соревновании мог выйти победителем, ему нужно не только солидное знание, богатый материал, чувство ответственности и умение писать, но нужно еще нечто большее — нужно вдохновение, идущее из глубины души, нужно прозрение вглубь и вдаль. А такой дар дается как бы только свыше, и это редкий дар. Если у автора есть всё это, то его книга будет первой среди многих и многих. И такова книга профессора Арсеньева «Духовные судьбы русского народа».

Эта книга написана по-немецки для немецких читателей, и написана великолепно, чистым, сильным языком и превосходным стилем. Темперамент, динамизм изложения, правдивость — увлекают читателя, местами почти как чтение романа, и книга читается с неослабевающим интересом с начала до конца.

Ключевский во вступлении к своему «Курсу русской истории» говорил о «воспитательном интересе и дидактической силе» истории. Этот поучительный интерес и дидактическая убедительность чувствуются в книге Арсеньева. Она больше чем только изложение богатого, прекрасно составленного материала. В ней веет дух, вера и полет мысли. Научное задание, план книги, материал и повествование располагаются в сосредоточенном порядке, как в магнитном поле долгого жизненного и духовного опыта автора.

Книга обращена прямым образом к тому народу Европы, у которого, вероятно, есть самая обширная литература о России и, кажется, наибольший серьезный интерес. Немецкая мысль к тому же привыкла двигаться в сфере метафизических соотношений, поэтому в Германии (но и повсюду в мире) сумеют оценить движущую идею этого прекрасного труда — показать взаимообусловленность характера и судьбы народа, его духовного облика, его души и их отражения в картине истории и жизненного процесса.

Nikolaus von Arseniew. Die geistigen Schicksale des russischen Volkes. Verlag Styria, Graz 1966. SS. 296.

Вспоминается, что Бенедетто Кроче, самый большой итальянский философ нашего века, писал в своих этюдах, что уже с восемнадцатого века «ощущается огонь страсти и интереса выделить и умственно определить еще мало освещенную и малопонятую часть человеческой души».

Этот «огонь страсти и интереса» понять русскую душу возгорелся в нашей классической литературе и с Достоевским достиг своего апогея. Но революция обострила и возобновила эту страсть, возникли новые загадки, вопросы, недоумения — и ответить на эти вопросы, распутать их от всегда к ним пристающих репейников политических идеологий стало задачей целой плеяды наших зарубежных мыслителей, которым, по счастливой случайности судьбы, удалось быть высланными за границу и этим спастись от грозившего им уничтожения в советской России. Так за рубежом появились прекрасные книги Бердяева, С. Франка, Арсеньева, Н. О. Лосского, С. Булгакова, Льва Шестова и других. Но, кажется, наибольшую, всеохватывающую панораму дает книга проф. Арсеньева. Она вникает и в психологию, и в историю, рисует образы типичных людей прошлого, в которых отражаются глубокие и великие, часто противоречивые добрые и злые черты народа. Проходят в этой паномаре Иван Грозный, патриарх Никон, Петр Великий, Потемкин, Ломоносов, Николай Новиков, Сперанский, Николай I и Александр II, вплоть до философа Кожевникова и Александра Блока. И как это все живо, правдиво и убедительно!

Конечно, центральная тема книги — показать веру народа в Бога и судьбу Православной Церкви. И это не могло быть иначе в книге, написанной автором книг «Душа Православия», «Жажда подлинного бытия» и других.

Невольно задумываешься: огромное большинство людей в наше время — скептики и неверующие или, в лучшем случае, безразличные. И как легко им заключить по видимости того, что читаешь в газетах, что в России живы только «остатки» религиозной веры, без значимости для будущего, что Церковь сметена и что не следует питать «эмигрантских» иллюзий о ее возрождении. На это можно ответить — пусть так думают, будущее покажет. Но можно и сказать — пусть задумаются над тем, что пишет Арсеньев! Мыслящий не может пройти мимо его книги.

«Судьбы народов решаются в плане духовном», — неопровержимо «декретирует» автор (стр. 281). Глава о Православной Церкви так ясно показывает, что в течение всей истории России Церковь и вера во всех превратностях судьбы оставались неискоренимой силой в скрытых глубинах души и выходили победительницами из испытаний.

Приводя примеры мужества верующих, признающих свою веру в

Бога перед советскими властями, и страх последних перед этой тайной силой, автор высказывает следующий осторожный прогноз: «В этом главный нерв духовной борьбы, ее духовное средоточие. Кажется, что дальнейшая судьба России зависит от ее исхода. Советские власти, кажется, сами это думают, иначе их борьба не была бы такой озлобленной, иначе они бы дали христианству умереть естественной смертью» (стр. 281).

Это не новая мысль, но читая ее после всего того, что автор предпослал о значении веры и Церкви в прошлом и что красной нитью проходит через всю историю, вероятно, задумается даже самый глубокий скептик.

Какое бесчисленное множество книг было написано о страданиях русского народа — о терроре, концентрационных лагерях, расстрелах, пытках. И сколько авторов писали об этом правдиво, добросовестно и возмущенно. И что же? Какой вывод? Нужна демократизация режима, заключали одни, нужно соблюдение советской конституции, нужен приход ко власти прогрессивной оппозиции, нужно и то, и другое, и третье и — в результате из этого нужного ничего не осуществляется. А кто в этой разногласии задумался над вопросом: какова картина этих ужасов в душе страдающих? К чему ведет страдание? И как сам страдающий может осмыслить его? По марксистской теории, страдание вообще не существует как душевное явление, потому что не существует души. Ленин ненавидел самую мысль о страдании, оно для него не существовало. И сколько западных марксистов, думая, может быть, иначе, не могут в этом признаться. Для них всё, даже злейшее зверство большевиков, «диалектический процесс истории». И вот ответ Арсеньева: «Смысл страдания (стр. 165) связан с верой в преображение и освящение нашей жизни через страдание Сына Божья. И судьбы России связаны с вопросом о реальности Бога и с фактом действительности Бога, и Его встречи с нами, и Его победы, когда Он (как говорит Достоевский в 'Бесах') Своим милостивым появлением изгонит бесов из тела и души больного и одержимого, каким является 'наша Россия'».

В последней части книги автор подходит к близкой нам истории конца прошлого и начала этого века. Он воздает должную дань большому государственному уму П. А. Столыпина и убежден, как были убеждены сами революционеры, что быстрый экономический рост России и благосостояния крестьянства уже до, но еще больше после земельной реформы Столыпина могли совсем обезвредить анархические и революционные движения и предотвратить революцию, не случись война 1914 года. Этого-то как раз революционеры и не хотели, и потому они убили Столыпина...

Правда, в трактовке этого периода политики государства нельзя не отметить некоторых пробелов. Автор обошел молчанием тупо реакционную и застывшую в столбняке политику Победоносцева, неудачную политику национальностей, еврейские погромы, преступную бездарность пра-

вительства в Русско-японской войне, да и коррупцию в управлении. Эти грёхи, увы, тоже вошли в духовные судьбы России, и они пошли на пользу революционному движению. Оно не потухло после разгрома первой революции 1905 года, а тлело под золой.

Остается пожелать, чтобы эта прекрасная книга была переведена и на другие иностранные языки.

Александр Больто

ПРОСТОРНАЯ ПРОСТОТА

«Прозрачная тьма» — стихи разных лет — прекрасная книга. Поэт оглядывается на свою жизнь, вспоминает — просто и без лукавства — свое детство («Где ты, рыбка моя золотая? / Ты в какие края уплыла?»), школьные годы («Кадет», «Неизменные черты»), свое «первое гнездо» («Дом времен Елизаветы, — / Прихотливо выгнутый фасад»), свою юность, с которой он «до срока / Расстался в первый год войны». Этим стихотворением («Памяти юности») он определил свою принадлежность к поколению, вся жизнь которого была сломана Первой мировой войной и последовавшими за нею трагическими событиями в России.

Нет ничего удивительного в том, что память о войне осталась у поэта печальная:

С песней разудалой
Вдаль ушли солдаты,
Чтобы не вернуться
Никогда.

В. Сумбатов целомудрен в слове. Он меньше всего хочет «расписывать и рассусоливать». Тем больше обжигают его скупые, почти веселые — «разудалые» — слова о выступлении войск в поход, ибо каждый солдат — носитель страшной судьбы, огромной боли. Мечта о славе оборачивается горькой насмешкой, и хорошо еще, если это будет только никем не читаемая книга («Конец полета»).

Человеку свойственно мечтать, но как мало у него данных, чтобы как-то «зацепиться» в иллюзорном мире! Да, в каком-то плане поэт переживет свое брренное существование, ибо стихи его будут читаться и волновать еще долго, но с присущей ему зоркостью — и притом без всякой горечи — В. Сумбатов замечает («Памяти поэта»):

Вынесли гроб отпетого,
Зароют в землю потом...
Жил-был поэт — и нет его,
И вянут цветы под крестом...

Книжка стихов останется
И долго еще будет жить, —
К ней от могилы тянется
Бессмертия хрупкая нить.

На земле бессмертия нет. В. Сумбатов знает, что продолжение рода — самообман дурной бесконечности, что наши внуки так же чужды нам, как мы чужды своим дедам, что память человечества, даже если оно нас заметит, все-таки не вечная память, и что слишком часто нам было бы лучше, если бы о нас забыли («Голова победы»).

Жизнь человека — освещенный клочок пространства между двумя океанами небытия. Для чего возникает этот клочок света и сознания, нам не дано знать, но человеку свойственно некое инстинктивное стремление сомкнуться с этим лучиком света. Редкий человек обладает запасом этого внутреннего света. Еще меньше тех, кто готовы поделиться им с другими — ближними и дальними. И В. Сумбатов — один из тех немногих, кто умеет найти в бессмыслице жизни проблески запредельного мира, умеет даже примириться с захлестывающими жизнь и сознание океанами смерти и безнадежности, но при этом от начала и до конца остается поэтом, никогда не пытаясь быть учителем или пророком. Нигде В. Сумбатов не излагает своего кредо, а просто показывает свой богатый внутренний мир: свою жертвенную молитву, вплоть до готовности понести чужую кару («Молитва», где поэт соприкасается с величайшими христианскими мистиками), свой выстраданный оптимизм («Вечный диалог», «Новый Год»), своеприятие мира, который «во зле лежит» и в котором поэтому «запах полыни» не только не портит букета, а, напротив, обогащает его («Полынь»), свое сознание двойственности бытия («На пороге»).

Оставаясь поэтом и только поэтом, В. Сумбатов почти никогда не пытается богословствовать. И хорошо делает, так как его очень немногочисленные шаги на этом пути ведут его подчас совсем не туда, куда он хотел бы пойти. В частности, в его «Софии» неверно то, что Премудрость Божья «открывалась в вечной славе / Лишь просто-верящим сердцам», ибо «просто-верящие сердца» никогда и не слышали о Софии Премудрости Божьей. Неужели путь спасения может кому-либо показаться менее тернистым только потому, что иные ученые богословы конструировали почти ипостасную Софию как довременное бытие мира, исконно существующего в разуме

Бога, и едва не навлекли на себя этим осуждения Церкви? К счастью, В. Сумбатов богословствует редко, и об этом отнюдь не приходится сожалеть.

Впрочем, если высоты философского умозрения лишь в исключительных условиях оказываются «по плечу» поэтам, то в более конкретных, плотных областях психологии они у себя дома. В. Сумбатов, поэт посвященный, ясно понимает алхимию поэзии, но у него не только боль превращается в чистейшее золото вдохновений, а всё вообще неисчислимо богатство мира перерабатывается в поэзию: воспоминания («Жизнь»), вера («Град Петра»), любовь («Два моста»), надежда («Ожидания»), хрупкость земной красоты («Погибшая весна») и жизни вообще («Три буквы»), даже «внутреннее сгорание» борьбы между плотью и духом («К душе»).

Тонкий психолог, В. Сумбатов знает, что человек редко бывает чем-либо вполне удовлетворен и что ему «всегда хотелось бы чего-нибудь более другого» («Две думы»).

Далее, у В. Сумбатова поразительное чувство природы, необычайное мастерство пейзажиста («В Сицилии», «Старый бор», «Музыка зноя», «Светлячки», которым не очень вредят даже трижды повторенное слово «мерцали» и спорный неологизм «зеркали», великолепные «Первая весть» и «Куку!»). Как китайский поэт Ван Вэй, та кой поэт должен был бы в то же время быть и художником.

О поэтическом мастерстве В. Сумбатова следует сказать, что его лозунг — «просторная простота». Его размеры почти всегда строги (от четырехстопного ямба до чисто тонических стихов), но ему чуждо искание новых форм во имя одной новизны. Его ямбы и хорей очень хороши, но в трехсложных стопах он иногда оставляет без ударения важное по смыслу слово. Зато он бросается такими строками, как «Звезды падали каплями, стрелами», а иногда плетет восточные узорчатые ковры звукописи («Власть слов»), но притом так, что ремесло у него нигде не выпирает, не подчеркивается.

Очень, очень редко вкус изменяет поэту («нахальный ветер», все целиком «Грехопадение»), но зато просто прекрасные, безупречные стихи у него преобладают. В. Сумбатов — поэт, смотрящий больше всего внутрь своего «я» (и не случайно его первой любовью «лесная была тишина») и этим приобретающий дар «второго зрения», приоткрывающего ему глубинную сущность бытия и бытия («Ангел», «Прозрачная тьма»), задумывающийся над загадкой воли («Выбор»), тайной жизни и смерти, но почти неожиданно откликающийся и на события внешнего мира (конец Цветаевой, оккупация Чехословакии), и на скорбные страницы истории (жизнь и смерть императора Иоанна Шестого — «Сказка с конца», почти правильный сонет), и на обычаи русские («Два сувенира») и кавказские («Двое»).

но тяжелых испытаний. Не видеть траурной каймы подчас не может даже такой насквозь пронизанный светом поэт, как В. Сумбатов. Зато те, кто видят ее всегда, порадуются, читая стихи «Прозрачной тьмы», что мир можно представлять себе совершенно иным — миром, в котором есть и краски, и формы, и человеческое сердце, и, быть может, самое чистое: музыка («Ты, вырвавшись из будничного плена, / Сошла к роялю в полутемный зал, / И с нежных пальцев капал и сверкал, / Как слезы под луной, ноктюрн Шопена...»).

Валерий Перелешин

СЛЕДОПЫТ РОДНЫХ СНЕГОВ

10 июля 1969 года скончался талантливый сказочник и поэт Иван Иванович Новгород-Северский. Читатели «Граней» знакомы с ним по его рассказам, напечатанным в № 31 (1956 г.). Он писатель весьма плодовитый, издал много книжек стихов и прозы. Привожу лишь названия некоторых его сборников стихов: «Заполярье», «Степные огни», «К Созвездиям», «Северное Послание», «Песнь Песней», «Шаманы», «Лунный цветок», «Мать Божия Державная», «Аве Мария», «Благовестие», «Пророки».

И прозы: «Сказки Сибирские», «Легенды о Божьей Матери», «Видение Петра», «Восточные Новеллы».

Стихами Новгород-Северского восхищался известный писатель Иван Шмелев, называл его «Певцом ледяной пустыни», находил у него «углубленность, насыщенность — «от духа» — ценнейшее свойство поэзии вообще: оно воспитывает душу читателя».

Лучшие его стихи, мне кажется, связаны с дальним севером, с тундрой, сибирской тайгой. Простор снежных далей, тишина и пустынное величие степей и ледяных морей близки душе поэта-охотника и искателя приключений. Полудикие, полуязыческие племена, населяющие этот край, привлекают его своей непосредственностью, миролюбием, радушием. Эти свойства типичны также и для автора «Заполярья» и «Северного Послания». Его отталкивают суэта и мелочные страсти обитателей больших городов. Все люди для него — члены одной семьи, а Отец у всех — Один.

«Не будь в своих сужденьях строг» к иноверцам, — говорит Новгород-Северский. «Их Бог — иной, их Бог — земной... / И Бог, дивясь их простоте, / Живет и в чурке, как в кресте!» («Вотяцкая божничка». «Северное Послание»). Поэту любо «Ходить в медвежьих рукавицах, / В ушастой шапке и мехах / И видеть радость в плоских лицах / И Божий страх в косых глазах». Подкупают такие его стихи: «Я ворванью, смолой и ромом прокопчен, / Дымя на палубе большой поморской трубкой».

Его описания снежных пейзажей живы и поражают удачными образами и метафорами. «В лунном тумане шаманит пурга-непоседа /, Белой метлой замечает неведомый путь». «Кругом кипят снега. Как смерч сполох идет, / В заливе шум, со стоном ходят льдины». «Цветная в солнце вязь, хрустальные узоры, / Прозрачный легкий шелк над лежками моржей» («Заполярье»).

Ему снится «Смарагдовый олень», «на молнию похожий», который зовет его за собой:

Вот так, как я, встряхнись грозово,
Над тундрой звонкой поднимись
И к звездам жарким с песней новой
Оленем солнечным взметнись.

(«Заполярье»)

«На бубне волшебном летели шаманы» («Шаманы») — одно из самых оригинальных его стихотворений. В них много стихийного веселья и динамики полета, в них слышится отголосок наших языческих колядок и русалий...

Стихотворение «Божки нанизаны на голубую нитку» чарует своей легкостью и удачным подбором ритмов («Заполярье»).

Стихотворение «Найди-ка след прошедших кораблей, / В бродячих льдинах — бухты очертанья. / В угасшем небе только Водолей / Плеснул ковшом над кораблем скитанья» — радует своим широким размахом, вводит читателя в призрачный ночной мир, полный тайны и чар. И дальше: «Его струя мне душу леденит: / Ужели холод и в небе бесконечном?» — спрашивает в священном трепете путник. Но горячая вера подсказывает ответ его души: «Но нет... звезда, блеснув, как полымя горит / И сердцу говорит об огненном и вечном» («Заполярье»).

Чистый сердцем поэт верит, что есть благой Отец и Защитник. У него, безусловно, «пушкинское приятие жизни», — как справедливо замечает Шмелев. Не утрачена живая связь с природой: где бы он ни находился — в дикой ли тундре, в толпе ли веселящихся туземцев — он чувствует себя дома. Кроме того, надо отметить у поэта большую чуткость к атмосфере пейзажей, описываемых им. «Вижу я в безмолвьи грозном / Зиму светлую без дней» — создает впечатление, что в этой снежной пустыне время остановилось, застыло в морозном воздухе...

Русская история, славное прошлое России, жизнь смелых русских Майн-Ридов, открывателей новых земель, волнует Новгород-Северского. Эти люди близки ему. В стихотворении о Семене Дежневе верно передан язык и нравы той эпохи: «На пошевнях пушнины вороха / И горы серебра алданского, литого, / А на самом парчевая доха, / Он пьет вино из кубка золотого. / Указ читает бородатый дьяк: «Я ноне Сеньке, за яво лихую

службу / Дарю пицаль, да свой — царев — колпак, / Да крепкую, — што кремль — свою цареву дружбу» («Заполярье»).

Не все стихи написаны, однако, с такой тщательностью и мастерством. Но есть и вдохновенные находки, давшие ему без труда: строка «Земля летит и машет белым флагом / Коронай светлой на небе летит» напоминает прелестные детские рисунки. Иные же строки поднимаются до высокой поэзии, как, например, «Хоть солнца нет, пустыня все же светит. / Какой огонь и кто в ночи зажег? / Не знаю я, что мне душа ответит. / Над тьмою свет... И тьмою светит Бог» («Заполярье»).

Есть у Ив. Новгород-Северского несколько книжек, посвященных Божьей Матери — «Матерь Божия Державная», «Чудны лики Твои, Пресвятая», «Аве Мария» и др. В них возносится хвала Пресвятой Деве. Есть икона «Неувядаемый Цвет», «Семиозерная», «Неопалимая Купина» «Радость всех скорбящих», «Нерушимая стена» и другие. Стихи эти умиляют теплотою чувства, преданностью Богородице, которая в них звучит.

Художественная проза Новгород-Северского совершеннее его стихов. Его Легенды о Божьей Матери восхищают своим эпическим дыханием, лаконическим языком. (См. мою статью «Иван Новгород-Северский — чудесный сказочник». «Русская мысль» от 11/9/69).

Не мало стихов посвящено Христу. К Спасителю у поэта было исключительно глубокое и искреннее чувство.

ПРАВДА ХРИСТОВА

Мирозданье без Правды Христовой
Лишь пустыня
И жизнь — лишь бред.
Не стремись же
За истиной новой,
Ты Спасителю
Шествуй во след.

(«Северное Послание»)

О. Можайская

КНИГА О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

О Второй мировой войне на Русском фронте имеется множество научных, литературных и мемуарных трудов, написанных литераторами, публицистами, военными специалистами, учеными и участниками не только в

Генерал В. З а м б р ж и ц к и й. Германо-советская война 1941-1945 гг. Всеславянское Издательство, Нью-Йорк 1968. Стр. 192 + альбом схем.

СССР, но и в Германии. В эмиграции, к сожалению, это событие освещено было очень слабо. Трудно сказать, почему так получилось, но можно предположить, что случилось это потому, что в последнюю четверть века ряды эмигрантских знатоков и теоретиков военного дела сильно поредели, да и материалов о Второй мировой войне в тех странах, где проживает большинство русских эмигрантов, не так много и достать их не очень легко. Что же касается всякого рода материалов о войне, опубликованных в СССР и в Восточной Германии — особенно воспоминаний участников — то, естественно, признать их строго научными весьма трудно ввиду исключительно тяжелых цензурных условий, существующих в этих странах. Поэтому появление книги ген. В. Замбрицкого «Германо-советская война 1941-1945 гг.» необходимо всячески приветствовать.

Книгу свою ген. Замбрицкий написал давно, и издана она была на ротаторе обществом Галлиполийцев в ограниченном количестве экземпляров в начале пятидесятих годов под заголовком «Германо-советская война — краткий военно-исторический очерк». Конечно, это специальное издание не получило большого распространения, и книга ген. Замбрицкого дошла до широкого эмигрантского читателя только тогда, когда Всеславянское Издательство в Нью-Йорке выпустило труд ген. Замбрицкого типографским способом.

В книге своей автор, хотя и кратко и конспективно, но весьма объективно и точно стремится восстановить в памяти читателя продолжительную, четырехлетнюю эпоху, насыщенную до предела трагическими событиями военного характера. Конечно, очень трудно вместить в небольшую книгу огромное количество сведений, относящихся к событиям этой бурной эпохи, но трудоспособность автора сделала возможным то, что многим казалось невероятным: кроме перечисления событий, в книге можно найти весьма подробное объяснение как причин возникновения войны, так и причин успехов и неудач отдельных военных операций. Автор весьма тщательно разработал подробные сведения о технических средствах обеих воюющих сторон и о количестве потерь как в отдельных крупных операциях, так и за весь период войны.

Как и следовало ожидать, с большою полнотою описана в книге вторая половина войны, ибо о первой половине, об этом неприятном и позорном периоде, советские источники стараются вспоминать как можно реже, хотя можно предполагать, что в московских засекреченных архивах хранятся многие любопытные документы... «Не может же советская власть расписаться в полной несостоятельности и безответственности за море пролитой крови», — пишет ген. Замбрицкий.

И вот, несмотря на страшные поражения, понесенные советской армией в начале войны — только пленными советская армия потеряла 5.630.000 человек за период от 22 июня 1941 г. по 1 марта 1942 г. — все же,

после невероятных усилий и жертв, командованию советской армии удалось разгромить и уничтожить противника. Произошло это, по мнению автора, не только потому, что в процессе войны из офицерского состава советской армии выявились талантливые военачальники, но и потому, что победе русских помог сам Гитлер: его слепая и упрямая тактика ведения войны была учтена и использована советским командованием... «Советские командиры оказались способными учениками», — пишет ген. Замбрицкий.

Однако поражение германской армии произошло не только по причинам техническим и военно-тактическим и не только от удачного использования тактических промахов германского командования. Были еще причины психологические и политические, о которых автор не упоминает: нарочито варварское отношение к пленным и к русскому населению на завоеванных территориях принудило русский народ не только защищать родные рубежи, но и ту нелюбимую власть, от которой он мечтал избавиться. В сознании русского человека немцы из «освободителей» быстро превратились в «завоевателей», и это решило судьбу войны; без этой главнейшей причины никакие талантливые военачальники не смогли бы спасти советскую власть. Но об этом было уже говорено тысячу раз... Спас советскую власть русский патриотизм, переименованный после войны в срочном порядке в «патриотизм советский».

Арк. Слизкой

ЗОВ ПРАРОДИНЫ

«Ветер свежее» — не первый сборник стихов и прозы Бориса Филиппова. Он уже выпустил несколько тоненьких, но талантливых книжечек, однако эта — самая зрелая его книга, и в нее он вложил все свои главные темы: о человеке, о Боге, о природе, о России, об одиночестве и счастье — темы вечные, но которые каждый поэт трактует по-своему.

Стихотворение, открывающее эту книжку, посвящено Лесному Зверю и приоткрывает завесу над неким вторым планом, очень ощутимым и всегда трагическим. То наша общая предыстория («древнее море», «первозданность», истоки нашего существа), роднящая нас всех — людей, зверей, всю природу. Свою сыновность к ней поэт переживает очень остро, поэтому столько жизни в его описаниях: она для него является не чем-то внешним, а как бы собственной плотью.

Не человеческая мысль, а «напруженность страсти» свидетельствует о

нашей нерасторжимой связи с этим миром. Страсть, даже самая примитивная, всегда священна: она не обманывает, в ней глубина, в ней зов «древнего моря», который, по Тютчеву, «объемлет шар земной». Если «бескрылое тело» — лишь «дряхлая лодка», то страсть — это парус, улетающий «в небо», увлекаемый в неведомые просторы «древней влагой любви» ... А в море попутный ветер непременно «свежеет», наполняет сердце прохладой...

Каждый раз, что мы вспоминаем Россию, разве не «свежеет ветер», пробуждая нас от душного порой оцепенения? Память о России таится в самых глубинах души поэта. Кто знает, быть может, без этой памяти исыка бы и самый источник поэзии ... Есть творчество, рожденное страданием, разлукой.

Как таинственная Прародина, так и Россия является фоном книги Б. Филиппова.

«Ветер свежеет» потому, что не весна, не лето напоминают ему родные пейзажи, а скорее «золотая сквозящая лесенка», ведущая в рай сквозь осенний листопад, а засыпанные снегом дороги, ледяные мосты над замершими ручьями...

Короткие рассказы — «В степи», «Ничего особенного», «В тайге» — полны горькой иронии над жестокой судьбой русского народа. Это картина безвременья, уже пятьдесят лет тяготеющего над нашей родиной. Тон повестей — сухой, трезвый, как будто речь идет не о чем-то ужасном, противоестественном, а о привычном, что еще больше усиливает чувство трагизма, отчаяния. То — последний адский круг, куда не ступала нога Данте, то — пепелище после пожара, покинутая Богом страна, осиротевшая душа народа.

Предельно трагичны стихи о «Девяти мертвых нищих старухах» «из под Федора Стратилата», «ковыляющих» «на Страшный Суд». Почему девять старух? не реминисценция ли это колдовской баллады Алексея Толстого? Но там страшные ведьмы, злые Яги, заслужившие свою кару, быть может, вестницы грядущих казней... У Филиппова то лишь дети «безносого... несчастья», сытые лишь «слезною коврижкой». Души до конца опустошенные, ибо им не нужен «сытый постой». Им «не страшен... Суд — страшен рай». Как могут они утешиться раем? Разве могут они забыть все пережитые муки?

Но осиротела не только душа человека, покинутого Богом, — осиротел также и Творец этого каторжного мира, Отец, отдавший единственного Сына «на пропятие». «Голгофа Сына предвечнее искупления. Предвечная бессыновность — предельное оставленности», — говорит поэт. Это очень оригинальная мысль, мне кажется, никем еще не затронутая.

Стихи об Италии очень хороши. Почти все написаны белыми стихами. В них чувствуется радостный восторг человека, вырвавшегося в светлый мир, где время течет не спеша, где люди веселы и беззаботны, почти счаст-

ливы. У поэта зоркие глаза, он подметил много типичного для Италии. Всякого внимательного путешественника поражают эти «официанты с лицами Сенек и Платонов» в итальянских trattoriaх. Верно передана «неохватность неба» римского, где «грузно кучерявится кипень облаков» «над мощью купола» Ватикана. Как хорош «красавец цветущий в одеждах доминиканского падре, таких белоснежных, как на фресках Симоне Мартини, выбритый до синевы, вкрадчивый и лукавый». Венеция, где «в храме солнечном на небе золотом синеват Богородица одежды. И черти синие беззлобно и слегка терзают грешников — по долгу службы только: ведь грех на Адриатике необорим, а жизнь так сладостна под твердью изумрудной...»

Поэта пленяет эта неоскудевающая «жизнь, простая жизнь», а также контрасты роскоши и бедности, грязи и пышности церемоний — «важные прелаты, кошки и гармошки — всё на алтаре...»

Однако он ни на минуту не забывает «гордыни каменной суеты веков», и ему ближе пение, «не уличное, не оперное, не церковное», а «простое, как небо и хлеб, густое и пьянящее, как кровь и вино» — песнь «прародины»...

Из всех итальянских городов Ассизи оставил в душе самый глубокий след. Это не только католическая святыня. Ассизи принадлежит всем нам, как напоминание о том, что братство людей и любовь — не утопия. Присутствие чудесного «поверелло» и по сей день ощущается здесь.

И сейчас Святой Франциск проповедует птицам:
птицы повсюду -- на всех зубцах башен Ассизи,
а поутру, когда стелется туман над горами и долиной необъятной,
они щебечут так весело
(и всегда в такт)
каноны Святому Франческо.
Как широко! Как мир неохватен!
Как сладостна земля Франциска и Кьяры!
И под твоим окном, любимая, птицы
свели гнездо в расщелине стены ветхой.

Я один без гнезда, одинокий...

О. Емельянова

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ

Бердяев, Николай. Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы. УМСА-Press, Париж 1969. Стр. 270.

Ключевский, В. О. Церковь и Россия. Три лекции. УМСА-Press, Париж 1969. Стр. 89.

Кончаловский, Д. П. Пути России. Размышления о русском народе, большевизме и современной цивилизации. YMCA-Press, Париж 1969. Стр. 259.

Мандельштам, Осип. Собрание сочинений в трех томах. Под ред. проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Том третий. Очерки. Письма. Международное Литературное Содружество, 1969. Стр. 300 + 5 фото.

Марченко, Анатолий. Мои показания. Изд. «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1969. Стр. 421.

Марченко, Анатолий. Мои показания. Изд. «La Presse Libre», Париж 1969. Стр. 369.

Осоргина, А. Пушкин и его творчество. Изд. YMCA-Press, Париж 1969. Стр. 151.

il Caffè, letterario e satirico. Anno XVI, N. 2/3, giugno-Luglio 1969, Roma. Pp. 240.

Fischer, Ernst. Erinnerungen und Reflexionen. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1969. SS. 479.

Historiska och litteraturhistoriska studier, 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, Nr. 430. Helsingfors 1969. Ss. 280.

Löwy, A. G. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Bucharin: Vision des Kommunismus. Europa Verlag, Wien 1969. SS. 419.

Mayenburg, von, Ruth. Blaues Blut und rote Fahnen. Ein Leben unter vielen Namen. Verlag Fritz Molden, Wien 1969. SS. 400 + 44 Fotos.

Oriente Europeo. Año XIX, Núm. 3, Julio-Septiembre 1969, Madrid, Pp. 171 — 266.

Svenska litteratursällskapet i Finland. Årsberättelse för år 1968. Helsingfors 1969. Ss. 21.

Sovietica. Anno V — N. 19. Ottobre 1969, Napoli. Pp. 72.

Trotzki, Leo. Die permanente Revolution. Fischer Bücherei, Frankfurt am Main 1969. SS. 154.

Редактирует Редакционная Коллегия

Главный редактор Н. Б. Тарасова

Ответственный секретарь Г. Т. Напиваненко

Адрес редакции журнала «Грани»:

Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M.-Sossenheim, Flurscheideweg 15

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность опубликовать те Ваши произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможно также публикация этих произведений на иностранных языках в некоммунистических странах.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

Possev-Verlag, 623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На российскую интеллигенцию, в особенности на молодежь, возлагается исторически ответственная задача — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

Издательство «ПОСЕВ»

**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

В шести томах

Цветная художественная суперобложка, твердый переплет, тисненый золотом, работы художника А. Русака. Фотография автора и его портрет работы московского художника В. Сидура

Вышел из печати

ТОМ ПЯТЫЙ

ПЬЕСЫ, РАССКАЗЫ, СТАТЬИ

Олень и шалашовка. Свеча на ветру. Правая кисть. Крохотки. Пасхальный крестный ход. Как читают Ивана Денисовича. Не обычный дегтем щи белить, на то сметана. Ответ трем студентам. В томе 270 стр.

Цена в твердом переплете 15 нем. мар. В США и Канаде 5 ам. дол.

Цена в мягком переплете 12 нем. мар. В США и Канаде 4 ам. дол.

Вышел из печати

ТОМ ПЕРВЫЙ

**ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА
РАССКАЗЫ**

Матренин двор. Случай на станции Кречетовка. Для пользы дела. Захар Калита. В томе 308 страниц и фотография А. И. Солженицына на меловой бумаге.

Цена в твердом переплете 18 нем. мар. В США и Канаде 6 ам. дол.

Цена в мягком переплете 15 нем. мар. В США и Канаде 5 ам. дол.

Переплетается и вскоре выйдет

ТОМ ВТОРОЙ

РАКОВЫЙ КОРПУС

600 страниц

Цена в твердом переплете 24 нем. мар. В США и Канаде 8 ам. дол.

Цена в мягком переплете 21 нем. мар. В США и Канаде 7 ам. дол.

Подготовлены к печати

ТОМ ШЕСТОЙ

«ДЕЛО СОЛЖЕНИЦЫНА». КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Письма, записки заседаний и др. материалы, показывающие отношение А. Солженицына к СП, к вопросам цензуры, к судьбам отечественной литературы. Наиболее полный сборник документов, начиная с письма IV съезду СП. Статьи о творчестве А. Солженицына:

Тарасовой, Благова, Лакшина. Библиография.

ТОМА ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ

В КРУГЕ ПЕРВОМ

МЕМОРАНДУМ АКАДЕМИКА САХАРОВА

Текст, отклики, дискуссия

114 стр.

Второе, расширенное издание

6.50 НМ

Издательство «ПОСЕВ»

Подготавливаются к выпуску следующие книги:

НАТАЛИЯ ГОРБАНЕВСКАЯ

ПОЛДЕНЬ

Белая книга, посвященная процессу над демонстрантами, выступившими 25 августа 1968 г. на Лобном месте с протестом против оккупации Чехословакии.

Е. ОЛИЦКАЯ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Молодой, почти девочкой, пришла Олицкая в партию эсеров. История, облик, судьба партии находят свое отражение в судьбе и облике автора. Воспоминания детства и юношества обрываются первым арестом и продолжают тридцатилетним путем по тюрьмам и лагерям.

МИЛОВАН ДЖИЛАС

РАЗГОВОРЫ СО СТАЛИНЫМ

Перевод с сербскохорватского. Книга включает также статью автора, написанную по поводу девятидесятилетия со дня рождения Сталина.

Свящ. СЕРГЕЙ ЖЕЛУДКОВ

ПОЧЕМУ И Я — ХРИСТИАНИН

Работа псковского священника, касающаяся важнейших вопросов христианской религии в современной России.

Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ

ФИЛОСОФСКАЯ НИЩЕТА МАРКСИЗМА

Классический труд по критике марксизма. Четвертое издание.

ВОСПОМИНАНИЯ П. Н. ВРАНГЕЛЯ

Переиздание одной из интереснейших работ по истории гражданской войны.

БУЛАТ ОКУДЖАВА

ДВА РОМАНА

Бедный Авросимов. Фотограф Жора.

ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ

КРУТОЙ МАРШРУТ

МИХАИЛ ГОЛЬДШТЕЙН

ЗАПИСКИ МУЗЫКАНТА

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

РАССКАЗЫ

Подробные объявления о каждой книге будут публиковаться перед выходом книги из печати.

Possev-Verlag, D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15